

## САПСАН

**С**апсан гнезвился на утесе Московского университета; жил безбедно. Яростно, чисто охотился, но жил тишайше. Что сапсану шуметь, что кричать: такой густой от города шум в небе стоял — летать тесно. Город не только мутил дымами небесный над собой воздух, но еще и мял его, и корежил, и морщил, и раздирал всякими своими воплями, свистами, хрипами, щелчками, стонами, шорохом, визгами — и в особенности музыкой. Ой, музыка ли это, музыка ли это — сапсан не ведал. И никто не ведал, кого ни спроси в громаднейшей башне под гнездом сапсана на ученом утесе.

Я достоверно знал о его гнезде, потому что прочитал в правдивой газете, что мало сапсанов в Москве, и, помню, удивился: есть, оказывается, даже сапсан в городе — и не в зоопарке, где птицы, может, с ума сходят. Думаю, и звери — тоже. С ума они сходят там, в зоопарке — непривычно все же, гадко от людей. Что за жизнь, поймите, в зоопарке. На сытость зверью если и не наплевать, то все равно свобода лучше сытости. Это человеку сытость важней важного, но не зверю, нет, но не птице, нет, не птице.

Человек за сытость убьет.

Сапсану она не нужна — тяжелит; ему — сила нужна, простая ярость от крови. Человек-то не летает, нечем махать, крыльев нет у бедного, а сапсан — вот слушайте, слушайте Брема: «При преследовании добычи он летит с такой быстротой, что слышен только свист и виден летящий по воздуху предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Сказал Альфред Брем, а не в журнале для молодежи. Но, продолжу мысль, газета точно писала: сапсан живет на МГУ — и может навсегда покинуть столицу, потому как — экология большая; метастазы цивилизации лижут, знаете, даже такие отвесные, уступчивые башенные утесы, как имени Михаила Ломоносова главный университет — и вот дотянулись до сапанова гнезда. Улетит он, улетит, и не увижу сапсана, если улетит он; а куда ему деться от грязи городской жизни, от мусора звуков — только лететь, лететь.

Думаю, так бы он поступил: взлетел бы над разлапистой звездой над храмом науки (размах ее, вообразите себе, — 9 метров), посмотрел бы хоть на Новодевичий монастырь — всегда там пернатые плавают на воздухе, — высмотрел бы голубя позобастей (зоб чтоб был с переливами) — и стукнул бы его! Вот и силы на дорожку! Но что там голубь, в нем крови мало.

Мяса теплого мало!

Но хотя бы голубя, хотя бы голубя...

А гуся, допустим, где изыщешь в московском небесном поле, где? Перелетные когда еще соберутся перелетать, а деревенские — ну какие тут деревенские: если есть где, то не летают, ходят как поросята с крыльями, а для чего им крылья — неясно. Рудимент. У птиц крылья, а у свиной — рылья.

Да их и нет, деревенских гусей, а сапсан, хоть и быстрый летун, как-то не рвался на подмосковные деревни падать. Сапсан, знаете, падает в атаке под углом в 45 градусов. А деревень не стало. Тяпнуть бы сапсану самолет, но — излишне высоко летают самолеты. Вкус их птицам неизвестен, и, вроде бы, самолет может сам птицу сожрать, если наскочит на нее в прямом, ревушем полете.

Вот я пришел к университету, я хотел увидеть сапсана в Москве, и я стал ходить, задрав голову, — а вы попробуйте походить вокруг храма науки, громаднейшего здания, задрав голову.

Не закружится ли голова?

На свое счастье встретил гринписовца (вот слово-то, извините) — ну, «зеленого». А «зеленый», чтоб знали вы, — это тот, кто был в Гражданскую войну, что в прошлом веке, ни за «белых», ни за «красных». Нынешний же «зеленый» не значит, например, «молодой», но означает — ходит на демонстрации защищать природу. Отчего многие смеются. Я не из таковских — что смешного в издевательствах над природой? Но правда — смешно протестуют!

Вот гринписовец мне и подтвердил: есть сапсан, есть тут сапсан. И заорал: «Вон летит!»

А я в очках. Я в очках. Ничего не увидел, только глаза заслезились. Зря он орал.

Может быть, и есть тут сапсан, — мне-то что за дело?

Дело в том, что я женщину разлюбил.

И вот меня потащило к университету на Ленинские — тысяча извинений! — на Воробьевы горы. Все с птицами связано почему-то, с птицами. Не крылышки ли режутся? Если они, то ангельских мне, пожалуй-

ста, не надо. Не надо, я грешный, в портрете у меня есть маленькая бу-  
мажная иконка — икона Божией Матери «Споручница грешных». Это,  
наверное, значит, что она грешных оберегает. Я не знаю.

Я женщину якобы разлюбил, разлюбил суку мою милую.

Меня потащило аж на Ленинские горы, тянуло повыше забраться. И  
вот я в метро прочитал газету, а там как раз про сапсана, и я подумал:  
есть ли что-то общее между сапсаном и мной? Сапсан — это мужского  
рода, это — сокол. Имя его — калмыцкое, а я даром что в правильных  
очках, но все ж таки чуть косоглазый. И еще: у меня плохо растет боро-  
да. Это признак, что во мне капля татарской крови, а где татарин, там и  
калмык.

Все люди, к сожалению, — одна большая семья, потому что женщи-  
ны всегда изменяют, что теперь, что в глубине веков, поэтому все люди —  
братья и сестры.

Все смешивается в женской тесной глубине.

Ты полюбишь женщину и станешь сохнуть, а она тебе, только не вол-  
нуйся, — сестра отдаленная.

Вот, прочитавши в метро газетку про сапсана, я понял, что надо де-  
лать: надо думать про него, про сапсана, но не про мою суку милую. Там,  
в университете, продаются разнообразные книги: есть и Брем, но мне за-  
чем покупать — я открыл том на развале, прочитал, запомнил, все пони-  
маю про сапсана.

Ты только, говорил я себе, не думай про нее, если якобы разлюбишь,  
не думай изо всех сил, не то — в дурдом, дружок, в дурдомчик, там та-  
ких принимают. Хотя сейчас есть могучие, лютые таблетки — махнешь  
парочку, запьешь водкой, и...

И будешь думать про нее.

Но ты лучше думай про сапсана, он ведь брат тебе.

Брем по томам отдельно не продавался, да мне и денег жалко, я их  
лучше на бинокль потрачу.

Бинокль мне пригодится для наблюдения за птицами.

Сейчас нет дефицита никаких товаров, поэтому я быстро купил зеле-  
ный, пятнистый бинокль. Как бы армейский — что значит надежный. На  
правом окуляре там рубчатое колесико — кроме того, что между трубка-  
ми, — и это колесико вот зачем: если у кого глаза разные по зоркости, тот  
себе может поднастроить под каждый глаз свою зоркость.

Слепые оптику уважают. Благоговеют.

Сапсан различает голубя с восьми километров.

Я залезу на университет повыше, смогу наладить бинокль — вся Мос-  
ква перед глазами. Гляну, само собой, в ее окно, но поскольку суббота, то  
дома она точно не сидит, а мотается — и я знаю точно, где она мотается.

Полагаю, я рассмотрю, и с кем она мотается, моя сука.

Моя!

Я прекрасно знаю, где она мотается, когда одна, и что ест. Где она  
бывает, когда захочет поест. Какие она магазины смертельно любит, и  
уж если начнет мотаться, то обязательно там окажется.

Большую часть их мне неплохо видно.

Москва, конечно, большой город, но я особо не тороплюсь. Все равно  
я ее разлюбил.

Спешить теперь особо некуда.

Я поднялся на лифте на двадцать восьмой этаж, там аудитория сто-  
лов на восемь. Пробрался к окну, смотрю. Наверное, стекла бинокля бле-

стят, так что если она случайно бросит свой взор на здание университета откуда-нибудь снизу, из Москвы, то, не исключая, заметит острый блеск оптики.

Немало времени я там убил, на университете, а ничего не разглядел. Но кое-что видел. Я там ведь ночь просидел, и я прятался. Невольно видел любовь студентов. Я прятался под столом. И так далее, не интересно.

А днем я видел тоже любовь, там много вокруг университета мест, где наскоро кое-что, и сверху видно, но не интересно.

Вот я думаю: вот бедный сапсан с его зрением — чего он только не видит из поднебесья, летая над Москвой!

Я не думаю, что он приглядывается, например, к голым пляжам в Серебряном бору. Сапсан не так чтобы часто смотрит на землю, его ярость — вся в небе, он себе крови ищет в небе, хотя гуся, стукнув, добивает на сырой земле.

Сапсан ищет себе крови в небе.

Я свою женщину ищу на земле.

К ночи ничего уж мне не видно, но я все шарю и шарю по светлым местам, по нарядной архитектуре и, знаете, даже увлекся: ну до чего же хорош, ой до чего же красив наш город.

Снова туда, где море огней.

Москва, Москва, люблю тебя как сын.

Город моей женщины. Горжусь. Невольно.

Я проспал там ночь, утром пораньше прилачился на свой наблюдательный пункт. Я ничего не ем двое суток, как ее разлюбил, и не пью.

И не хочу.

Мне бы сожрать голубя!

Его кровь ведь красная, яростная — и соленая!

Утром в оптическом радужном воздухе пронеслась стремительная тень — не сапсан ли? Не к ней ли — рассказать обо мне?

Утро в Москве прозрачное, только толстый, мутный блин смога висит над центром — ветра нет, к сожалению, чтоб сдул подушку дыма с любимого города.

Тень пронеслась быстро, а бинокль — прибор дрожащий, за птицей следить трудно. За сапсаном не уследишь, точно.

«При преследовании добычи он летит с такой скоростью, что слышен только свист и виден летящий по небу предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола».

Знаете ли вы, приматы, какую скорость развивает сапсан в боевом падении на жертву? Вы не поверите. До 350 километров.

Наступило воскресенье. Воскресенье — день весенний, песни слышатся кругом...

Посмотрим. Посмотрим.

Воскресенье, а явились студенты — и началось. Я не стал под стол прятаться. Я тут думал студенты — и началось. Я не стал под стол прятаться. Ушли куда-то. Университет огромный, мест много в нем.

По кустам я уж и не смотрю. И так все ясно.

Дымы из труб начало гнуть на запад — ветер, ветер, ветер, ветер, ветер пролетел, ветер, ветер, ветер, я давно тебя хотел.

Что ж ты, сука, наделала!

Ты любишь ходить по набережным, а набережную, Лужниковскую, отсюда замечательно видно.

Если она придет не одна? Если не одна!

Устали мои глаза, и сколько же женщин ходит по набережным, и сколько их бродит вокруг университета.

И скольких берут по кустам! И неужели по любви?

Но неужели без любви.

Всякую платную грязь — да и любовную студенческую дружбу — я не принимаю в расчет.

Неужели...

Я мало что вижу, мало вижу. Все двоится. Слезы набегают на глаза от напряжения, и как ни крути рубчатые колесики, а все нет резкости.

Как же я ее разгляжу в бескрайней Москве?

Надо спускаться на землю. Пойду и буду ее искать — и, может быть, я ее найду. Стер глаза, теперь сотру ноги — и ладно. Найду ее, суку милую, и убью. Убью!

Я спустился на землю, поднял напоследок глаза к небу и явственно, четко, резко увидел сапсана на ученом утесе. У него была мощная грудь, а под глазами черные пятна, похожие на усы.

Сапсан смотрел на меня сверху и думал горько: вот человек. Этот человек, думал сапсан, стоял у окна — не исключено, что собирался полетать. Жуткое зрелище, когда человек летит. Разбивается всмятку.

Я пошел на книжный развал, нашел там Брема и вложил в том вырванную страницу. Я не хотел сперва признаваться, что я ее вырвал из книги, но — лучше признаться. «Споручница грешных» не позволяет мне лгать. Я признался книгопродавцу.

Совершенно случайно я встретил внизу гринписовца. Ему подарил бинокль, рассудив, что мне теперь, когда я посадил глаза окончательно и капитально, бинокль не скоро понадобится. Гринписовец опешил от приятности. Ладно, зеленый, охраняй мировую природу, не ленись ходить на демонстрации. Нам угрожает экологическая катастрофа, слышал, нет?

Протестуй!

Я пошел пешком по Москве — мимо свадеб на смотровой площадке, мимо каких-то магазинов ненавистных; ездил целый день в метро, слепнул на улицах до ночи.

Я звонил ей — и никто мне не ответил вечером. А ночью я провалился в звериный сон, спасаясь от близости дурдома.

Потом пошли таблетки, прогулки, врачи. Ну и таблетки, конечно. Я, на самом деле, здоров. Мы бодры, веселы! А что, что таблетки? От простуды...

Мне бы сожрать голубя! Кровь у него красная, яростная, соленая, мясо теплое. Но как мне его ударить в небо?

Эту историю я потом рассказал моей милой, моей любимой, моей единственной женщине.

Солнышку моему!

Ей, моей птичке, рассказал через два года. Не удержался, дурак, рассказал. Она была в зале на защите моей диссертации, в МГУ, посылала мне свою энергию, чтоб я защитился. Потом, перед бедняцким научным банкетом, мы вышли погулять, передохнуть, и я все рассказал.

Кроме того, что видел, что делается в кустах вокруг университета.

Она быстро потемнела лицом.

— Пойдем в кусты! — сказала она вдруг. Хрипло.

На этом заканчиваю. Для полноты сведений есть одно дополнение. Чтобы вы поняли кое-что про сапсана. Сапсан гнездится по всему миру,

но очень редко встречается. Нет таких краев, где сапсан во множестве. В Москве сейчас, вроде бы, есть сапсан. Точно это никому неизвестно.

Мне, выходит, крупно повезло: я видел сапсана!

Но и он видел меня — в ту минуту, когда я в смертном ужасе отшатнулся от распахнутого окна.

## DOLCE VITA

«Я себе построю на песке прекрасный чудный дивный город!»  
Вот мерзкая песня!

Построй. Получится у тебя что? Вонючий, мерзкий, дикий город. Даже если и правда построишь его, допустим, — ты маленькая девочка в песочнице. Выйдет безумная бабка с собачьей тварью в бантиках, и тварь немедля нагадит на твой прекрасный, чудный... Немедля, и как бабка обрадуется! В жопу поцелует от счастья свою тварюгу. А ты потом рассыпай иголки по площадке, может, тварь окочурится. А потом собирай, как дура, потому что — ведь дети же тоже есть. Одна кругом глупость.

А построишь ты его, город, на пляже, у воды — и, опять же немедля, волна слизнет всю красоту, оставив после себя раскисший окурок. Или еще что померзей...

Но если всерьез, то все равно. То все равно никаких прекрасных чудных дивных городов не бывает. Ни на песке, ни на глине, ни на граните, как Нью-Йорк. Бывала и там. Очень хорошо понятно про Нью-Йорк из фильма «Брат-2». Я его любила раньше смотреть. Правдивое кино. Но там есть одна неточность. Лысая русская проститутка так просто домой не вернется. Никакой ее Сергей Бодров вызволить от негров не сможет. Такто, по жизни, их бы там негры на пляже ночью забили бы. Уж я знаю.

Я люблю смотреть новости, когда там кого-нибудь долбят. Но когда полицию — жалко мне: такие порядочные ребята, в касках, в ботинках тяжелых, в таких мужских ботинках. Не то что антиглобалисты, вот рвань! Их хорошо знаю, по Риму. Случайно оказалась с ними, думала — вот обвал! Вот кайф! Как пошли по Риму — и давай орать, давай орать! И ничего не страшно, а весело мне! Ну кто, кто, думала, поверит мне, что вот так я сама да по Риму! Молодые как старые! Старые как молодые! По витрине — жах кирпичом! Лично! Сама! Меня подхватили на руки, посадили какому-то облomu на плечи — вау! Вау! Девушка — фактически — на баррикадах. Шея меня его — ох, шея у него... Да уж.

А что вышло? Строго в личико мне досталось из пожарного брандспойта, только покатила. Толпа — назад, хорошо не затоптали; хорошо — не в полицию попала, не к карабинерам. Bravo итальяно!

А попала в другое место, к чернявым. Привели к себе куда-то, давай меня раздевать, зеленкой мазать, глаза закатывать. Давай тарыхтеть. Давай переглядываться, будто я дура, не понимаю. Давай штаны с себя снимать, давай хвалиться передо мной. Не видала я, как же! И что? И после этого я в отеле, где миленок дорогой-пожилой, который меня сюда привез из Москвы, раздеваюсь, а он вылупился на трусики мои и давай орать! Все синяки обсмотрел, все обсмотрел. Ты же меня этой поездкой в Рим вроде как наградил! Поднял меня до себя, а теперь орешь как бешеный.

Ну что ты орешь? Я же все твои эти слова знаю. Я же — жертва изнасилования. Ну что мне, к тебе в гостиницу не возвращаться было? У итальянцев оставаться? Или что как? Да были бы у меня деньги, я бы купи-

да-сменила, и ты бы ничего не заметил. А так же я не скрывалась. Меня они силой! Чего ты выступаешь! Деньги, между прочим, где?

И какой мне был ответ? Он мною чуть всю мебель не изломал. Столик обрушил на меня. Торшером два раза достал, самой палкой, а не колпаком. Все мои тряпки изорвал. И торжественно изнасиловал!

И после уснул на полу, чудная картина. Выжрал, наверное, ведро вина, мазал меня виноградом, осыпал деньгами (как будто лиры — серьезные деньги), хлюпал арбузом и арбузом тоже мазал. Меня. Тьфу!

И проспал, между прочим, до ночи. Излечился от бешенства. Поскучнел, затуманился. Пойдем, говорит, в ресторан. Прости, говорит. Я тебя так люблю!

В ресторане пьет, и пьянеет опять, и не пьянеет. Я тебя так люблю! Я тебя так люблю! Я тебя так люблю! Да что я, не знаю? Люби на здоровье, не жалко. Только предохраняться надо.

Я прекрасно знаю, как ты меня любишь. Очень хорошо помню. Ноябрь двухтысячного года, г. Москва, подвал на Красной Пресне. Кастинг на фотомодели. Тыща дур, и даже с мамами, встали в одну очередь, все в колготках, пластику чтоб показывать. Чтоб не старше... Чтоб не младше... Чтоб не тоньше, чтоб не толще. Сидят мужики, а ты ходи перед ними. Ты понравься, понравься сперва, а потом уж сообразишь, с кем, как, кому, когда, зачем. Может быть — вот счастье! — какой захочет попробовать тебя! Ты прогибайся, знай.

Уж как прогибалась, а что в конце?

«Спасибо, девушка». Это значит — гуляй, свободна. Толще у тебя что-то. Или тоньше что-то. Не угодишь.

Уже домой пошла, догоняет. В коридоре, где очередь. Громко так, на весь коридор, как дура: мне кажется, ребята ошиблись! Но все можно исправить! Вы хотите все исправить?

Что, мне вернуться? Нет, зачем же! Идемте! Будем сейчас, не откладывая, снимать портфолио.

Ага, снимать. Ну понятно.

Дуры рты разинули, мамаша зашипели, а мы мимо — и в машину. И прямо в студию! И давай меня фотографировать!

И никто, главное, меня не насилует, даже удивительно мне!

А есть в жизни счастье! Уж через две недели красовалась я в журнале! А? Вот! Но это полбеда. Полпобеды. А победа — я ему стала любовницей! Всех он раскидал, кто раньше был, да они сами отскочили, забрал к себе жить. Я маме написала, что у меня в Москве есть теперь свой адрес! Послала ей домой килограмм денег. Она приезжала, но я ее «к себе» не водила. Неизвестно, как что. Сказала, что он богатый студент, родители там, то-се, крутизна. Они ничему не поверила, она умная, мама. Она все простит. Мама моя.

А он — какой же студент? Он, кажется, профессор. Или ученый. Я не знаю. Но определенно, что он разведен, хотя дети есть у него, и дочь его я видела, она копия на меня похожа.

Между прочим, все понятно. Так и бывает. Влюбляются не в новое, а в старое, что уже видели и знают. Дочь живет себе с маманей отдельно, а дочь он любит — аж трясется, и я ему — замена ее. Не в том смысле, конечно, это-то он нормальный. С чувствами, потому что ну что? Старый, а старые все с чувствами, даже если совсем гады. Все равно.

Потому что им же как хочется быть молодыми, а молодые, считается, — свежесть чувств! И чего-то половодье. Буйство глаз и половодье чувств!

Но мне, честно, хорошо. Хорошо. Я его водила на коротком поводке, думала, как к жизни приспособить. Ведь не женится, скорей всего. Переходный он у меня период, наверное. Кто-то проявится обязательно, ибо Москва — большой город. К тому же — у меня портфолио. И в трех журналах я. И походку мне ставят, и макияж я понимаю, и вообще — вообще надо думать теперь про жизнь серьезно.

А самое главное — вот настоящий знак — стал он меня прятать от всех. Боится, что кто другой объявится и уведет. Не бойсь, дурачок, чего ты боишься, никаких событий нет. Я же не сумасшедшая.

А он говорит: сумасшедшая! Сумасшедшая! И так при этом глазенки выпучит, и, глянь-ка, прямо молодеет. Вытворяет такое — как молодой козел! Любит мои глупости, обо всем расспрашивает. Например, про политику. Или хоть про модельный бизнес. Про историю России. Чего-нибудь спросит, я как сказану — с ним истерика! Кричит, подожди, я запишу! Хохочет. Отпаиваю его водой «БонАква» с пузырьками. Всегда вода есть, потому что фотомодель должна два литра в день выпивать воды — для кожи.

Прячет-прячет, а то выведет на презентацию. В этом для него свой кайф. Я понимаю. Чуть-чуть для шарма дуручкой притворяюсь. Называется — самобытность. «Экзотика подлинности». «Обаяние вечного». В конечном счете, считается, чистота. Да пожалуйста! Как мужикам нравится, ну дебилы просто. Полные. Я на презентации раз осмотрелась, выбрала кого пожиже-помоложе, из двадцатого ряда сюда попал, малость на него косяка подавила, и он запал. Закружил вокруг, мой начинает догадываться, засопел.

Я с молодым отошла к пальме в кадучке, только он чего-то наклонился шепнуть, я ему раз по морде! Бегу по залу, все глядят, а я к своему на грудь — и ну рыдать. Уедем отсюда, кричу, уедем!

Мой глазом моргнул, молодого куда-то уволокли. И мы гордо уехали. Была после этого, понятное дело, ночь любви.

А утром он мне говорит: я верую! Верую я! Знаю, кем ты мне послана! Знаешь — женись!

Нет-с, никак не женится. Жметса чего-то, мнетса. Все уж мы разговоры проехали-проговорили, какие положено. И что да кто у меня раньше был! И люблю ли я его! Люблю — могу честно сказать. Да, люблю. У самого что раньше было — это, считается, не считается. Я это обязана даже уважать, он намекает. У него все так величественно, а у меня как у собаки какой.

До чего глуп бывает мужик! Любовь ему одновременно глаза промывает — и одновременно он глупеет. Неужели же он не понимает, что я его люблю, что я ни с кем ему изменять не стала бы. Больше всего это его ломает — про измены эти.

Да что это такое для женщины — хоть бы он знал! Что женщина — хрустальная чистота, он понять этого не может. Он будет каждую муть какую-нибудь тащить всю жизнь за собой, катать ее, как горячее яйцо вареное в руках, и помнить, помнить, помнить. Весь пожелтеет от переживаний.

Все дураки они — все, я утверждаю.

И подлость есть! Я себе шуршу на кухне, кто-то к нему приехал, сидят в гостиной, тихо разговаривают. Я — ушки на макушке, подкралась к двери. Прислушиваюсь... Ну это просто Мексика!

— Отдай ее мне!



— Ты что, спятил?

— Отдай, бабки дам!

— Нет, кончай этот разговор! Забыли.

— Слушай, чего тебе, телку жалко? Я же не навсегда прошу, на две недели. Проветриться хочу в Испанию. Она как была твоя, так и будет, верь слову.

— Арчил, ты, вижу, ничего не понял. Она — не по этому делу. Абсолютно.

— Ха, не по этому! А что, только оральным способом?

Мой ему в рожу щелкнул, благородно — пощечина! Тот кричит:

— Вай, Юра, думал — брат ты мне! Прости! Возьми деньги за обиду, да!

Я чуть не описалась. Козел поблеял еще и слинял. Я тем временем в ванную, все с себя смыла, чистая как доярка, никаких теней, никакого блеска, волосы мокрые, тапки домашние, выхожу косолапо и говорю:

— Давай целую неделю дома сидеть, и чтобы вообще никого. Я так устала.

Он мне начал руки целовать, а я думаю: не сука ли я?

Конечно, нет! Ну так — может быть, чуть-чуть. Любовь никогда не бывает без грусти. Но это же лучше, чем грусть без любви.

Отсидели мы целую неделю дома, и телефон отрубили, и ходили только, как простые, в гастроном на углу мяса купить и зелени, потому что — одно мясо хотелось есть. Я поправилась. Он похудел. Совсем стал молодой, томный, красивый. Пузик был у него микроскопический, намек — и того не стало в результате. Зато чувства! Зато чувства! Да я не знала никогда, что так бывает у мужчин. Тут дело совсем не в постели. Что-то тут другое. Куда важнее.

А потом он мне говорит: «Поедем в вечный город». Я сперва испугалась — отравиться вместе, что ли, предлагает? Нет, это он про Рим, оказывается. Чего не поехать, я только рада до беспамяти. Но я ем, по наивности (не притворялась в этот раз дурочкой) говорю: да Рязань наверняка древнее Рима! Знаешь ты что-нибудь про Рязань?

Принялся опять по дивану кататься и хохотать. Очень смешно ему!

В Риме побывала антиглобалисткой. Чтoб их разорвало всех!

А в Нью-Йорке как вокруг меня все крутились! Русская звезда! Вот он там выступал, вот выступал. Все шло к тому, что для «Плейбоя» сняться мне. Да в общем, снялась — только не напечатали. А так — укатали. Это не у нас сниматься, это ад просто. Это просто ад. После этих съемок ничего уже не страшно. Но домой-то я вернулась, в Москву, снятая!

— Вас снимали в Штатах?

— Да, для «Плейбоя». Я много думала, прежде чем дать согласие...

Все аж зеленели от такой информации. Да лучше бы провалиться всей этой Америке вместе с «Плейбоем»! Вместе с неграми и негритянками. С фроамериканцами этими, в рот им нос!

Потому что он в Нью-Йорке один раз в гостинице не ночевал. И неизвестно где чего — может, даже и с негритянкой!

Пришел под утро виноватый, как собака, и говорит:

— Прости. Я не знаю, что со мною было. Сперва переговоры, а потом мы куда-то на вертолете летали. Я ничего от тебя не хочу скрывать.

Давай я реветь, так мне горько стало. А он — ума нету с похмелья — и говорит: вспомни римскую историю...

Довольно сильно я его побила тогда. Не жалеючи, потому что мне обида в кровь кинулась. Сравнил тоже.

Зато потом уж мы хорошо жили. Совсем семьей. Я и не снималась больше, потому что он мне сказал: хватит. Это все суета сует и всяческая суета.

— А что же не суета? — спрашиваю.

— Дети, любимая.

Я аж села.

— С нынешнего дня — ни грамма алкоголя. На тренажерах нагрузку снизить, только минимально для формы. В сауну — ни-ни!

Алкоголя ни грамма! Да я воду пить брошу до конца дней, если так!

Я забеременела, славно так подурнела, а ему это больше всего нравилось. Пигментация пошла, токсикация сразу, не до чего мне было. А он любит меня, нет-нет да захочет, и я его хочу все равно, и сколько можно было — мы уж все делали как муж с женой.

Говорил мне: родишь, будем все вместе креститься — ты, я и сын. А потом обвенчаемся с тобой. Пусть уж в таком порядке будет. В Елоховском кафедральном соборе.

Круто!

Уже восьмой месяц закружился, мальчик мой (уж ясное дело — мальчик) во мне всюду шевелился. Я, помню, проснулась, поглаживаю живот себе, говорю: Юра, положи мне руку тихо на живот, послушай — сын чего-то тебе сказать хочет.

Взяла его за руку, а она холодная. Я лежу, лежу и потом начала кричать.

Кинулась к телефону — кому звонить. В записной книжке первая буква — А.

— Арчил, Юра умер! Юра умер!

Похоронили Юру.

Дня через два приехали его жена с дочерью, открыли своим ключом: собирайся, говорят. Хорошо тут пожила. Ты нашего Юру убила.

Да разве я его убивала! Разве я его убивала!..

...С московской электрички сошла в Рязани красивая беременная женщина. Постояла, будто припоминая что-то, потом определилась, добралась до автобуса. Всю дорогу дремала она, опираясь на свою небольшую мягкую сумку с вещами. В Константиново приехали уже вечером. Шофер остановился под фонарем, включил свет в салоне, посмотрел на единственную оставшуюся пассажирку. Услышал — как стон:

— Отвезите меня домой, я заплачу.

Белая была как скатерть. Он даже испугался, но быстро все сообразил:

— Отвезу, отвезу, я тебя мягко доставлю. Терпи! Куда ехать?

Назвала улицу.

Господи, какие же у нас дороги мучительные!

На пороге родного дома начались у нее схватки.

— Юра! Юра! Мама! Юра!..

## ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ НОЧЬ

Игорь Владимирович вернулся в гостиницу на ночлег — порядочно уставший после бесплодных, пеших поисков, после многих разговоров со случайными, большей частью пожилыми людьми. Открыв номер, он обнаружил под дверью визитки проституток — листочки с телефонными

номерами и знойными именами вроде Изабелла и Сюзанна. «Изабелла» и «Сюзанна» лежали также у телефона, который зазвонил сразу же.

Он довольно грубо оборвал зазывный пряный разговор, невольно усмехнувшись: где, мол, я, а где продажная «любовь».

После многих лет журналистики Игорь Владимирович занимался теперь делом безденежным, но для души ясным: на средства московского небогатого фонда ездил по городам и весям и описывал утраченные храмы. Итогом поездок должна стать книга, где было бы сказано обо всех утерянных церквях. Потому что, понимал он, раз люди в этих церквях крестились, венчались и отпевались, молились, исповедовались, то надо же сохранить хотя бы память. Россия — пройдет время — глядишь, вспомнит себя, и тогда его книга пригодится, но делать ее надо сейчас.

Три дня уже кружил он по крошечному городку в упорном, но безрезультатном поиске. Здесь такой был у него урок: найти хотя бы остатки фундамента древней церкви, снесенной под гром оркестра в тридцатые годы прошлого уже века — и сгинувшей навеки, потому что взорвали ее, не усмотрев в древних стенах даже и хозяйственной надобности, не переделав ее ни в детский дом, ни в тюрьму, что было для церкви привычной судьбой.

Город, куда он на этот раз приехал, оказался беспмятным, хотя в нем строилась новая церковь, — и строилась она в Долине бедных, как прозвали местные жители бывший пустырь, на котором ныне красовались капитальные особняки.

Гостиница зато отличалась застарелым коммунальным убожеством и из всего сервиса и гостеприимства могла предложить разве что Сюзанну да непомерную жару в номерах — близко дымила котельная.

В дверь кто-то постучал. Он открыл — на пороге стояла миловидная молодая женщина в сером элегантном костюме, никак не проститутка. Вера. Днем раньше он познакомился с ней служебным порядком, мельком, в местной администрации, когда безуспешно искал там отцов города.

— Можно мне войти?

— Пришли — входите. Да входите, входите смелей. В ногах правды нет, — сказал невпопад и смутился. Красота гостьи все-таки на него очень быстро повлияла, потому что ляпнул вдруг: «Но нет ее и выше!» — и тут ступешевался окончательно и покраснел.

Она казалась растерянной, но хамства не заметила и даже как бы оживилась.

— Мне неловко очень, — все еще стояла в коридоре.

— Да входите же, честное слово, — взял ее за руку и ввел в номер. — Садитесь. Садитесь вот в кресло, вроде не поломано.

Села она с естественной грациозностью — и номер вдруг похорошел, и Игорь Владимирович порадовался, что она застала его при галстукке, а не в командировочной гостиничной униформе — древнем спортивном «Аиданди».

— Игорь Владимирович, скажите мне, извините меня, вы из Москвы?

— Из Москвы, да.

— Хорошо... Я бы ни за что вас не побеспокоила, но тут такой случай...

— Какой случай?

— Вы же из Москвы?

Он помолчал. Подумал.

— Да. Из Москвы я.

— У меня, в общем, проблема...

Затомилась, отвернулась. Все уже понял он, конечно, и подивился: тертым себя считал, а надо же — купился на дешевку. Но уже было ему интересно, как все повернется и как она будет переходить к делу.

— Я похожа на проститутку? Только не льстите мне. Если не похожа.

— Нет, вы на проститутку не тянете. Но... вы серьезно все это?

— Абсолютно.

И он понял: это серьезно. Она не проститутка.

— Тогда, если абсолютно, вы встаньте, пройдитесь и сядьте. Надо видеть в движении женщину. Сиднем ничего путного не высидеть.

— На койку сесть?

— Избави бог. В кресло. С компота обед не начинают.

Она продолжала сидеть. И он продолжал сидеть напротив, а между ними орал телевизор.

— Да выключите вы его, — взмолилась женщина.

— Комфорт создавать, настроение — ваша обязанность, — заметил нарочитым тоном знатока Игорь Владимирович. — У клиента другая забота.

Она перегнулась в кресле, щелкнула кнопкой, и телевизор замолк.

— Опять все неправильно, — поморщился он. — Надо было громкость сбавить. И найти музыкальный канал.

Она вынула из сумочки маленький магнитофон — и полилась прятая медленная мелодия.

— Леннон? — вздрогнул Игорь Владимирович.

— «Не хочу быть солдатом» называется...

— Наркотическая песенка.

— Дальше некуда. Только я не знала, что это Леннон исполняет. Я интуитивно подбирала. А почему вы говорите, что наркотическая?

Он весь подобрался и спросил:

— Жестокий вопрос можно задать?

— Про возраст?

— Нет. Другой. Можно?

Она тоже напряглась.

— Можно.

— Что вы под эту музыку делаете? Когда одна?

Она потупилась. Наверное, покраснела, но он наверняка не разглядел, потому что сумерки уже сгустились за окном и в номере было темно.

И сказала:

— Я в вас не ошиблась.

— Ошиблась как раз, милочка. Все, пожалуй. Сеанс окончен.

— Вы думаете, что я проститутка?

— Нет. Я думаю — мать Тереза.

— Нет, я не проститутка.

Не за шиворот же было ее выкидывать.

— Ну хорошо, а дальше что?

— А могу я быть проституткой? Стать? По внешним данным?

— Послушай, а не проституткой ты можешь быть?

— Я и сейчас не проститутка.

— Я спать хочу. Иди, пожалуйста, домой.

— Я не могу сейчас уйти.

— Это почему?

— Мне надо попробовать.

— Чего тебе надо попробовать?

— Я хочу стать проституткой.

— За деньги?

Она помолчала.

— Нет. Сейчас бесплатно.

Он закурил, открыл форточку — и хлынул в номер сырой, живой воздух с угольной горелой горчинкой: невдалеке росла над трубой котельной черная шевелящаяся гора дыма.

— Теперь меня послушайте, — сказал он, переходя опять на «вы». — Серьезно послушайте. Поймите. Я примерно догадываюсь. Примерно. Значит так — примерно. Муж никакой или его нет.

— Муж в тюрьме, — вставила она быстро.

— Детей нет.

— Детей нет, — прозвучало эхом.

— Любовника нет.

— Нет.

— И бедность, конечно.

— Тут у всех бедность. И я не исключение. Меня еще и с работы увольняют.

— Почему это?

— По сокращению штатов.

— Ну что-нибудь, может быть, вы найдете же. А бедность тут не у всех, я знаю. Тут богатые на новую церковь скинулись. На церковь сейчас в России последнее не отдают. Согласны?

— Это бизнесмены скинулись. Мужчины.

— Неправда. А Кондюкова? Бизнесвумен ваша местная?

— Кондюкова, если хотите знать, настоящая проститутка и есть. Самая первая.

— Какая же она проститутка? Я справки наводил — держит универмаги и бани.

— Ну вот. Бани. Самая там проституция и есть. Вы сходите.

— Обойдусь, спасибо. Ладно, проехали с Кондюковой. И вы, короче говоря, решили этим самым делом подзаняться. Так, что ли?

— Да! — ответила с вызовом. — Если честно.

Он выдохнул дым в форточку, выщелкнул окурок.

— Вы думаете, я вас отговаривать буду? Нет. Вольному воля, спасенному рай. Только вот одно хочу узнать: я-то зачем вам? Это первое. Второе: почему бесплатно? Бесплатно — это будет не по-профессиональному. На любовь смахивает. А ни вы меня, ни я вас...

— Вы бы мне комнату помогли в Москве снять. Недорого. Вы же интеллигент. У вас и друзья есть. Знакомые. Могли бы меня порекомендовать. Как бы был салон. Потому что я боюсь на улице...

Ему захотелось выругаться матом. Захотелось назвать ее крысой. Либо свиньей. Но не душой. Или уж душой. Но сказал он другое:

— Я жрать хочу!

— А поедемте ко мне!..

Он набросился на нее, смял. Потом быстро напились они, она стала плакать, и у него побежали слезы. И он сказал:

— Не выживешь ты там, понимаешь ты? Пропадешь как мотылек. Убьют тебя.

— За что?

— За красоту.

— За это разве убивают?

— За это и убивают. Уж поверь.

Она поцеловала его благодарно. И сказала вдруг с обретенной негромкой уверенностью:

— За это не убивают.

— За это убивают. Поедешь в Москву все-таки?

— Я сейчас не знаю. Но вот мне теперь уж хорошо на душе. Я не знаю. Дай мне, пожалуйста, телефон свой. Хоть рабочий. Пожалуйста. И — когда вы уезжаете?

— А ты с мужем венчалась? Или так просто расписана?

— В разводе. Его посадили за меня — он меня убивал по пьянке. На смерть.

— Гуляла ведь?

— Нет. Нет. Ты у меня — второй в жизни. Когда ты уезжаешь? Хоть провожу тебя я.

Это ему трогательным показалось. И потом она ушла, а он протрезвел, как не было ничего. Как ничего не было.

Попил чаю, разболтав в стакане пакетик «Липтона», лег и думал о своем, а когда телефон принимался звонить (Сюзанна?), он снимал и тут же клал трубку, чтоб зря не донимали. Из Москвы, знал он, никто не позвонит — прошли уже те времена, когда разговаривались с женой, где бы ни были, и мало обращали внимание на разницу часовых поясов. Да, прошли, прошли. Не будет звонка из Москвы.

Молчал и бесполезный в этом медвежьем углу мобильник, никакой роуминг сюда не доставал. Городок-то был угрюмый, помертвевший, очевидно, за последние годы, хотя и охорашивался неоновыми вывесками. Что удивительно, ни разу за всю командировку не отключили в гостинице свет. Славный был городок, но почему-то без патриотичных краеведов из тех, что при советской власти выпускали небольшие книжечки, открывавшиеся обыкновенно статьей партийного главара. Дальше шло собственно содержание, где период от палеолита до Октябрьской революции укладывался в полторы странички, зато современность отображалась с детальной статистической отчеты, и где находилось все-таки два слова о местном храме, если он тут был. В городишке храм когда-то был, но новейшие времена отличались примерной беспамятностью; полистав намеренно такую, давнего года выпуска брошюрку, Игорь Владимирович ничего нужного ему в ней не обнаружил.

Утром по безрадостному пробуждению, погруженный в мучительный и безысходный стыд, думал он о Вере — жалел ее и размышлял, связаны они теперь между собой или все забудется очень скоро.

Он представил ее в Москве... женой. Ясно увидел ее своей женой. И подумал, что жизнь ужасающе коротка и кончается раньше, чем созревает душа.

Забудется она — не забудется. Нет уж, теперь она в нем останется, и он, наверное, будет, вспоминая Веру, вспоминать и другой случай, другой грех и другую женщину.

...Несколько лет назад в сибирском городе закрутилась ради местного юбилея общероссийская велогонка. Его задача была тогда простая: привезти от московской прессы две сумки хрустальных ваз и в свой черед — после главы администрации, генерала и знаменитого в прошлом спортсмена — вручить хрусталь лучшим велогонщикам. Ребят ему было жаль, потому что велосипед их физически изуродовал с ранней юности.

Еще до вручения призов он промчался в такси, специально арендо-

ванном для соревнований, по трассе — вслед пелотону — и немало подивился, когда сидевший на переднем сиденье седовласый бывший гонщик опустил стекло, подтянулся, высунувшись за окно, на руках и с мужественным вниманием глядел на согнутые спины велосипедистов, усердно нарезавших круги по центру города. Номер почти цирковой, но глупый, потому что и из машины видно все было как на ладони. Чем-то это походило на журналистику, давно уже при гласности неумоимо жующую и так всем понятное.

После раздачи призов образовалась некая выжидательная пустота, пауза, которая ясно чем должна была разрешиться. Конечно, мощнейшей пьянкой, но к этому занятию он давно охладел и подумывал, что на крайний случай можно поужинать-побанкетничать, но от неформальных продолжений, конечно же, отказаться наотрез. Оказалось, однако, что неформальная часть задумывалась как изюминка, а изюминку из булки выковыривают первой.

«Девочки будут. На баню, наш уровень... едем», — доверительно, как своему, и не сомневаясь в согласном решении сказал ему приставленный местный чиновничек.

Тут он как отрубил: иду в гостиницу, жду звонка из Москвы.

Чиновник малость подумал, кивнул понимающе: «Вам в номере накроют».

В гостиницу его доставили на том же такси, и он вдруг почувствовал, поднимаясь на лифте, что порядочно уже устал: сказался ранний ночной вылет из Москвы. Сутки спрессовались; оказалось, что здесь уже поздний вечер, а по провинциальному графику — почти ночь.

Он вышел из лифта, прошел по коридору, за поворотом светилась крохотная лампочка у стола дежурной, сама же дежурная дремала на застеленном диване под белой простынкой.

Ключ на регистрации внизу он забыл взять, но дежурная (сервис так сервис!) сказала мягко: «Ключик ваш вас дожидается под подушечкой», — и как кошка лапой вытащила ключ на деревянной нелепой груше — только не из-под подушки, а как бы из-под себя. Протянула ему, не вставая, потом ойкнула («Что же это я! Постель-то!»), соскользнула с дивана, завернувшись в простыню.

«Что постель?» — подумал он, взял грушу, оказавшуюся теплой от ее тела, и пошел к номеру; дежурная семенила за ним.

В номере он обнаружил сервированный столик и незастеленную постель.

— Я сейчас, — пискнула дежурная, открыла шкаф, вытащила простыни и наволочку, — я сейчас управлюсь! Налейте вина пока.

Стала стелить, простыня с нее тут же упала, и оказалось, что под простыней была она мало во что одета.

— Пошла вон отсюда, — пробурчал он беззлобно, — иди досыпай.

Она не обиделась, спросила только: «А можно я выпью?» — И храбро махнула полфужера водки, после чего мгновенно запынела. Завернулась в простыню и уселась в кресло напротив.

Тогда и он налил себе водки, тоже выпил, тоже запынел и не думая решил, что пусть будет как будет.

Хотелось ему спросить, зачем же она так, есть ли у нее муж и как ее зовут.

Она, однако, взяла инициативу в свои руки.

— Давайте еще выпьем?

— Давай, — согласился он.

— У нас в Сибири холодно, — сообщила она.

— Везде холодно у нас, — сказал он. — Везде Сибирь.

— А вы свою жену любите?

— Зачем это ты про жену?

— Да чтоб ты нос не драл.

— А что мне его драть — нос-то? К вечеру. Как ты думаешь? Красивей, что ли, он будет? — встал, пьяно качнувшись, прошел в ванную и стал рассматривать себя. Нос как нос. Морда. Смотрел на себя — как не на себя, с бесконечной отстраненностью, и спрашивал мысленно: кто ты? Что ты тут делаешь? Чем ты гордишься?

И увлекся этой мыслью. «Чем я горжусь и чем могу гордиться? Вот чем? Чего я такого достиг по жизни? Чего я могу еще достичь? Или совсем не надо ничего достигать, само придет? Или дьяволу душу продать?»

Пошептал одними губами: «Дьявол, купишь мою душу? Есть у тебя деньги? Или ты только баб подставляешь?»

На что дьявол ответил: «А ты что, думаешь — баба дешевле денег? Зачем их вместе связываешь? Подумай как следует, что чего дороже. Ты, часом, не импотент? Могу тебе помочь».

«Что дороже бабы? Что лучше любви? — думал он. — А может, она не посланец дьявола? Если она посланец любви? Если любовь без денег?»

После этого умылся, обнаружив холодную воду в обоих кранах.

И несколько часов еще они исповедовались друг другу, и ему казалось, что он про нее все знает, но оказывалось, что это она все знает про него и, несмотря на пьянку, тонко ведет беседу. И получилось, что он ей все рассказал, а она ему ничего.

А рассказал он немало и пригнул самую малость, от таланта, но малость была трогательно-благородно-неосознанной и выставляла его в хорошем свете, отчего она сказала, к утру уже, что о таком муже можно только мечтать — и дура та, которая...

— Стоп, — сказал он. — Не тебе, на самом деле, судить.

— Кому, как не мне, — усмехнулась она.

— Почему это ты можешь обо всем судить?

— Да я просто все знаю!

— Что ты знаешь, шваль гостиничная? — внезапно озлобился он.

— Потому и знаю, что шваль.

— Я не понимаю.

— А сейчас поймешь! Давно ты так душу кому открывал?

Он задумался.

— Зачем ее кому-то открывать?

— Но мне же вот ты ее открыл.

Трезво на него смотрела, без обидной усмешки.

— Только одного не договорил: ты сейчас уже не против меня память, только тебе стыдно тело оголить, после того как душу оголил. Хочешь ведь лечь со мной?

— Стань к окну.

— Да пошел бы ты!

«Она права, — подумал он, — кругом права», — но еще сопротивлялся:

— Ничего ты о моей душе не знаешь.

Она встала у окна, как он хотел. Оглянулась через плечо, как бы кивнула на себя:

— Вот и вся твоя душа, кобелек!



— Уйди, сука! — закричал он.

— Все равно так не кончится, чего уж, — засмеялась она, и опять не обидно.

— Уйди, я тебя прошу как человека!

— Вот, — усмехнулась, — и я, оказывается, человек, а не сука.

— Кто тебя послал на мою голову? Не дьявол?

— Муж, — сказала она.

— Почему? — спросил он одеревенело. — Этого не может быть.

— Еще как может!

— Да как? Как?

— Он про мои занятия все знает. У нас тут быстро радио работает.

— Что ж он тебя не убил до сих пор?

— Любит, — сказала она. — Я домой деньги ношу.

— Слушай, уйди, уйди. Если деньги! Зачем ты связываешь?

— А ты нет?

Он полез в карман за кошельком, она зло рассмеялась в лицо:

— Идиот! Идиот! Идиот!

— Но ты-то кто тогда?

— Женщина я, — сказала она. — Точка. Если ты еще не понял.

— Ты же жена!

— Да я его ненавижу — больше, чем тебя!..

Вот это ему все и припомнилось теперь, после вчерашней гостии, утром в гостинице, отчего настроение стало еще хуже. Выпил полбутылки боржома и опять «Липтона», принял душ, почистил зубы и побрился. «Сегодня найду, что ищу. Обязательно», — подумал он.

Пожилая коридорная сиделица, когда проходил мимо, посмотрела на него не без ехидцы, спросила с намеком:

— Хорошо спали? У нас тут обычно спят хорошо.

«Зарботок упустила, долю от Сюзанны», — подумал он и ответил:

— Покой гостей почему не бережете? Проститутки у вас назойливые.

— Какие есть, — сказала ведьма.

В поганом настроении вышел из гостиницы и даже закурил на улице, чего не любил вообще-то делать. Куда идти? Идти решил к местному начальству, которого раньше никак не мог застать и которое по долгу службы хотя бы могло его просветить насчет церкви.

Глава администрации — судя по виду, одногодок его — со сдержанной гордостью рассказал то, что он уже и так знал. Состоятельные люди решили, что город без церкви — не город, негде прилично Пасху справить. А раз так, то образовался и комитет жертвователей, и жертвователи не поскупились, и церковь, вон она, почти что уж и построилась.

— У вас была тут церковь, почему ее не восстановить?

— Была, — согласился глава администрации, — да сплыла. Мы и места толком не найдем, где она стояла. А вообще мы, конечно, на старом месте хотели строить. В смысле восстанавливать.

— И что, никаких источников нет? Архив запросили бы, — сказал он, показывая осведомленность и зная, что и в архивах тоже ничего нет, потому что нет и довоенных архивов, они сгорели в Великую Отечественную, а церковка была не знатная.

— Да мы историков даже из области приглашали, и то впустую. Даже экстрасенсов. Что упало, то пропало.

— Нет, не пропало, — сказал он убежденно. — А экстрасенсы ваши — они в этом деле на стороне зла. Старики-то у вас есть?

— Малость, — ответил чиновник. — Совсем старых, конечно, нет уже. Да мы их опросили всех, впустую. Пустые хлопоты.

— Ну я все же похожу. Поищу.

— Да ради бога. Бог, как говорится, в помощь. А я вот хочу вопрос один... Вы уж извините. Но для порядка. У вас какие полномочия? Вы от попов или от государства?

— Я от фонда. Я же вам визитку давал.

— Ага, да. Есть визитка... Игорь Владимирович.

— А что вас беспокоит? Я тут сугубо в мирных целях.

— Да оно так, конечно. Но только, я полагаю, все, что с церквями связано, то все опасно в России у нас.

— Это почему?

— А так. Вот почему... если вы, конечно, от фонда там. Вопрос কিনуть?

— Киньте, — усмехнулся Игорь Владимирович.

— А вопрос такой: вы как думаете, новая церковь долго простоит?

— Как построят.

— Не в этом смысле спрашиваю. Взрывать ее не придется? Годков так через семь?

— Это зачем же?

— А зачем в тридцатые годы взрывали?

— Тех уж нет, кто взрывал.

— Ой ли? Вы что, не чувствуете, куда ветерок задул в России?

— Куда же, по-вашему?

— Да не туда, куда следовало бы. Совсем в другую сторону. На свалку нас сдувает.

— Что-то вы иносказаниями объясняетесь.

— Умному человеку и намека хватит.

Помолчали они.

— Ну вот, — сказал глава администрации. — Вот так вот.

— Да ерунду вы говорите, — откликнулся Игорь Владимирович.

— Разве уж? А это вот что? — чиновник кивнул в угол кабинета: там, на телевизионном экране, крутилась вокруг большого креста, как вокруг шеста, голая стриптизерша.

— Где все же церковь была?

— Не знаю я. И никто не знает. Какая разница теперь.

Ушел ни с чем, но зато на улице случился один разговор, когда он обратил внимание на женщину средних лет, перекрестившуюся на новую церковь.

— Простите, вы верующая?

— Конечно, — ответила она просто.

— Если вы местная, то, может быть, знаете. В городе была раньше церковь, а я вот ищу ее следы и ничего не могу найти. И где она стояла — тоже, говорят, никому не известно. Никто не говорит.

— Почему же, многие знают. И я знаю, конечно. На ее фундаменте котельная. Возле гостиницы, видели?

— Спасибо, — сказал он.

Он зашел в новую церковь, примиренный, помолился там под строительными лесами, долго, сердечно говорил с батюшкой, который тут плотничал, и, можно сказать, покаялся в сибирском своем грехе — и в последнем, вчерашнем, хотя ни слова об этом не было сказано.

Сердечная боль отпустила его.

Заехал на вокзал за билетом, вернулся в гостиницу и засел там записать, что узнал о старой церкви.

На следующий день вечером он сидел у окна в купе московского поезда.

Дрогнули вагоны, и он увидел вдруг, что вдоль состава, вглядываясь в вагонные окна, бежит его вечерняя гостья.

Он задернул занавеску, выскочил в тамбур и рванул стоп-кран.

Он не знал еще, что останется здесь.

## В ГУСТЫХ САДАХ ЛЮБВИ

Сад был старый, обильный, со всех сторон близко подступал к дому, ветки в форточку лезли. Яблоки падали тяжелыми шарами, не дожидаясь ветра и вора; ночные ежи под яблоней не топырили иголки, чтоб яблочные ядра их не сломали. В саду стояла скамейка со спинкой. Целоваться было нам хорошо. Она выгибалась, отстранялась, упиравшись лопатками в мощный яблочный ствол, а дальше уж некуда отстраняться, некуда запрокидывать голову, и нельзя спиной сдвинуться вправо, потому что скамейка была просторная и только и поджидала нас.

Вероятно, мать видела нас из окна, мальчика и девочку, но вряд ли слышала стыдные, смятые слова, а стыдные мои слова — потому что стыдные — были все же для нас последней преградой.

И эта преграда не рухнула, о чем мы оба потом жалели — как если бы во рту пересыхало от жажды, но не посмели напиться из ключа.

У нее потом родились два мальчика, сразу, в другом городе: она уехала, потому что мать туда перевели по работе. Ее муж был водитель автобуса. Поколачивал ее за врожденный аристократизм, за то, что любила по театрам ходить, а это ж последнее дело для женщины — в театр ходить. Зачем — на артистов смотреть? Как любовь изображают?

Через десять лет я дозвонился ей из Москвы и попал как раз на мужа. Попросил Светлану Игореву. Муж спросил: «Чего? Какую Игореву?.. Плетнева тут!.. Ты кто?» — и заревел там, как бык, в другом городе, бросил трубку на стол и начал бить жену. И это было слышно, как он ревел, орал на нее, чтоб разъярить себя, а она кричала: «Прости!»

Конечно, она там изменяла мужу, потому что она бы иначе с ума сошла от такой своей жизни: двое мальчишек, денег нет, мать умерла, муж сволочь, пьяница, импотент, скотина. Только и счастья ей было поплыть в чужих, сильных, воровских мужских руках, и нравилась ей грубость и быстрота, мужская жадность, и что все происходит прямо на работе, с налету.

Она со смутным сердцем проходила мимо церквей, никогда не заходя внутрь, так как молитв не знала и при виде церкви вспоминала, как сто лет назад, на Пасху, они, то есть я и она, ходили на крестный ход и целовались совсем страшно, жарче и стыдней, чем с мужиками на работе через много лет, когда она стала опытной женщиной и поняла себя — чего ей хочется по-настоящему.

Мне надо было поехать к ней, в город этот ее, встретиться и наконец все сделать, что делается в любви. Я уж понимал, что это теперь совсем другая женщина, но себя ощущал прежним, не чувствовал, что я выцвел, а залысины себе прощал — ведь мужчина, много жил и, так сказать, страдал, а так-то в душе к ней — мальчик. Тот мальчик, который шел после свидания, неся на губах ее губы, и спать ложился, не умываясь, чтоб губы

остались. Я тогда срывал с ветки самое большое яблоко, желая ощутить вычитанное — что маленькая грудь похожа на яблоко. Это бред — все эти сравнения: яблоко, груша. Кто это написал, тот с любовью к женской груди не прикасался. Слов для этого не существует, и не надо их. Яблоко! Ничего не надо в любви из слов, кроме стыдных, нежных.

В следующий раз я дозвонился ей на работу, прямо на рабочий стол в полумертвом ее НИИ, где она то ли за компьютером сидела, то ли переводила что-то с английского на русский из мира высоких технологий. Какая-то там жизнь еще теплилась, в провинциальном космическом НИИ, на заморские гранты. Я сказал ей, что это я звонил ей домой и слышал, как муж ее бьет. «Ты не слышал зато, как я его бью, — ответила она. — Одно только плохо: он меня при детях бьет, а я его, когда мы дома одни. Чтоб мальчишки не видели, что папа у них — дерьмо. Они его любят...»

Мы стали созваниваться, стягиваться, сговариваться, как бы нам встретиться — ей ли в Москву приехать, мне ли в ее город, а лучше всего, говорила она, встретиться на нейтральной территории, в каком-нибудь населенном пункте с гостиницей. Я понимал, что денег и объяснительного повода для поездки в Москву у нее не было. Поволокся бы за ней ее алкоголик еще.

На самом деле я хотел к ней ехать, на их с мужем территорию, потому что я себя чувствовал не вором, а хозяином, а вор был он, и я хотел свое взять. Я хотел встретиться прямо у нее дома — и отомстить ей за бесплодную, бесплотную юность. Потому что она тоже была воровка: забрала меня в ночной юности — и не отдавала мне меня.

Все это, как водится, откладывалось. Всего этого, может быть, во всю силу мне и не хотелось. А хотелось пережить еще раз то чувство перед жизненной развилкой, когда все могло бы быть, да не случилось: она пошла налево, я направо, а на развилке осталось остывать большое яблоко, нагретое моими ладонями. Оглянулась ли она на него?

Она-то оглянулась. Пять лет назад мы ведь с ней встретились — на встрече выпускников. Была такая неутомимая несчастная Люда в нашем классе, настоящая несчастная красавица, которых мужчины боятся почему-то из-за красоты, и никто себя с ней не видит, а она самая добрая была бы и верная, совсем не чета моей аристократке, в которой, некрасивой, женское притягательное начало просто в голос выло. Вот эта одинокая Люда обзвонила всю Россию, и все мы, почти все, к ней приехали, каждый со своей жизнью, и Светлана тоже — без мужа, исключительный случай, а детей тогда еще не было. Люда жила в бывшем заводском детском саду, который достался ее отцу, директору завода, по приватизации. Там было множество комнат, но и что-то детское витало еще. Проступали, например, на стенах в коридоре из-под покраски детсадовские росписи: ежики, подсолнухи, счастливое детство. Как детские сны иной раз снятся взрослому.

Немедленно мы очутились в дальней зоне, и все от нас понятливо отхлынуло в гостиные, спальни и кабинеты, все заинтересованные зрители, которые и собрались-то, чтобы посмотреть, как у нас сладится. Я, когда ехал на эту встречу, понимал, что все уж тут случится, но как случится — как именно — не представлял. Весь детский сад замер и затих — то есть там, где-то, в бывшей игровой, шумели, тосты кричали, танцевали, но вокруг нас все же стояла тишина. Люда притащила нам простодушно водки, вина, блюдо с бутербродами и дыню — зимой.

Мы довольно нервно разговаривали, не могли поймать нужный тон и

были как совсем чужие. Дело дошло до довольно глухих тостов про юность. Мы не могли быть самими собой, и водка с вином нас не расковали. Большая вышла бы пошлость, если бы я хотя бы поцеловал ее. Я ей принялся сочувствовать, брать за руку, это наступил предел дурости, потому что лучше бы она мне сочувствовала, но она была покорна, а я душой помнил, что она не сломала когда-то преграду, и я когда-то преграду не сломал, и за эти пять лет она еще укрепилась между нами. Она хотела быть покорной, а я хотел ее непокорности, сопротивления и одоления преграды.

Водка — это проклятие. Дело в том, что Света хорошо уже пила к тому времени. Что-то она добирала водкой. Она стала мне жаловаться, как трудно было ей собрать здесь весь класс, как несчастная Люда ничего на самом деле не хотела, потому что боялась вопросов о том, как ей, Люде, живется. А жилось ей одиноко, еще одиноче, чем когда-то, еще злее и страшнее — с ее никому не нужной красотой. Но, говорила Света, только у Люды мы и могли встретиться, больше нигде. Ты пойми, нигде, не в гостинице же, а напрашиваясь тебе в Москву я, пойми, не могла.

— Почему ты за него вышла? — спросил я, и я хотел ее ударить.

— А ты где был? — спросила она жестко. — Ты даже в институт не поступил, уехал в эту свою армию, будь она проклята. Где ты был после армии? Не в Москве?

— Но я же тебе писал, ты знала, что я тебя люблю.

— Я тебя ждала, но не удержалась один раз. А потом мне было стыдно тебя ждать, раз я не удержалась. И я больше не удерживалась, но я тебя любила.

— Любила? — спросил я, ожидая ответа «Люблю!».

— Любила, — ответила она.

У меня кулаки сжались.

— И ты бить будешь? — она смотрела без презрения.

— Любила? — спросил я снова, ожидая ответа «Люблю!».

— Любила!

Я посерел.

— Плохо тебе? — заволновалась она. Глухая, глухая баба. Тупая баба, дрянь, подлючка. В злобе я набросился на нее, стал что-то срывать, но она выскользнула, зашептала: «Нельзя, нельзя, потом, потом!» — и я слышал, как она невольно засмеялась — радостно, по-женски, почти счастливо, потому что она думала, что я ее хочу любить, а я хотел ее так избить, изнасиловать, избить, как ее муж, наверное, бьет, подлюку, потому что она гуляет, не может не гулять, такая ее сущность.

— Потом, потом, все разойдутся, Люда меня оставит ночевать, а ты вернешься, мы так договорились уже.

— Вы договорились? — спросил я. — Ну вы и ночуйте!

Я выломился из дома, и она, наверное, не поняла, что я ухожу совсем, а не психую. Мне не было ни перед кем неловко, плевать мне было, потому что все все получили, и добрые наши друзья и подруги насладились вечером нашей встречи сверх всякой возможной меры. Я думаю, над детским садом, когда мы там общались, воздух потрескивал, как он трещит под высоковольтными проводами. Я думаю, кто там, после пьянки, повалился спать в случайных комбинациях, те от нас так зарядились, что к утру девки жаловались и на вялых домашних мужей обижались, потому что бывает же, оказывается, такая ночь — без сна и устали, такая неограниченность. Вот молодец Люда, собрала друзей. Только добрую Люду вряд

ли кто приглубил, и, надо думать, зареклась она родной класс собирать для детских игр.

Вылетел я на мороз и поехал в любимый сад в глупом размышлении, что и она приедет сюда же, в том доме ночевать, который ей не чужд. Я думал, она поймет, что я ее здесь жду.

Но оказалось, они всю ночь просидели с Людой, проплакали каждая свое. Даром я там яблоки собирал, в ледяном саду. В детский сад я уж не возвратился, а добрел до вокзала и уехал ночью в Москву, выпив какой-то отравы в буфете с немцами-студентами, с неграми-студентами из местного университета.

В полдвенадцатого следующего дня я был уже в Москве под циклопическими сводами Казанского вокзала. Милиция у меня документы проверила. Поехал в редакцию, благо дело суббота, контора закрыта, и уснул там на диване сталинской постройки — всеобщем любовном лежбище.

Позвонил в другой город, в детский садик, позвал ее к телефону.

— Ты обедать придешь? — спросила она. — Мы все тут тебя ждем. Все напились вчера. Приходи. Я на тебя не обижаюсь.

— Я в Москве, — ответил я.

Явилась в редакцию по своим делам творческая сотрудница, и я ее привычно и зло затерзал на диване, и потом чуть под землю не провалился от тоски стыда, но она умно подошла к делу: что-то поняла, жалела меня, после растерзания, по-настоящему, по-человечески, а не по-женски, но я не поддался на провокацию — ничего ей не рассказал. Она зато мне сказала, как отрезала:

— Не ту любишь, которую любишь!

— Я не понимаю, — я посмотрел ей в глаза.

— Да ладно, не понимаешь. Все ты, милый мой, понимаешь. До последней точки. Любить только просто не умеешь. А надо любить просто — без глупых страданий. Вот — меня люби. Это тебе легко будет. В какой раз мы с тобой на этом диване, помнишь хоть?

— А ты умеешь — любить без страданий?

— Я вообще никого никак не люблю. Зачем? Ничего не дает, только старит женщину. Надо любить по расчету. Надежней выходит.

— Суррогат. Знаешь это иностранное слово?

— Нет, не суррогат! Конструкция!

Крепко сжала маленькие кулачки, глазенки блестят. Хорошая девушка.

Вот из этого кабинета я и дозванивался в НИИ своей Светлане Игоревой-Плетневой, мужней жене. Мужняя жена — маленькие груди. Надо было ехать к ней. Надо было один раз утолить эту жажду.

Никогда я не бывал в этом городе, но как будто узнал его сразу: на привокзальной площади стоял постаревший исторический Ленин, и сразу подумалось, что жизнь прочна — вот и памятник атеисту цел, и колокола в церкви звонят. Гармония, душа радуется.

Душа. Сидел в привокзальном ресторане, у окна, ждал, как условилась, смотрел на площад, гадая, как она появится: в такси ли приедет, пешком или, может быть, выскользнет из трамвая — хрупкая ведь она у меня, тонкая, высокая, и она бы выходила из трамвая не как величественная старица, а выскользнула бы рыбка, грациозно.

Так и получилось, как намечтал. Именно выскользнула и сразу устремилась к вокзалу; полы длинного пальто летели, как крылья, и кто видел ее, мог подумать: торопится на поезд, немного опаздывает — такая в ней сквозила устремленность.

Вошла в ресторан, увидела, остановилась в дверях. Я оставил деньги на столе, пошел к дверям, она развернулась и повела меня — шла впереди в десятке шагов, остановилась у киоска с журналами, как будто выбирала, что купить в дорогу. Я подошел.

— У входа «жигули» десятка, синий металлик, за рулем девушка в шапочке, садись к ней. Я сама приеду.

Да, это маленький город. Я сел в «жигули», закурил без разрешения, и мы куда-то понеслись. Аккуратно, впрочем, девушка вела машину и только и спросила у меня: как там Москва?

Я пожал плечами.

— Понятно, — сказала она. — У нас так же. Только яблоки дешевле.

— Давайте я что-нибудь куплю. Остановитесь, — попросил я, хотя вез с собой целую сумку всякой всячины.

— Цветы — не надо. Их потом выбрасывать жалко. А так — и так все есть, не беспокойтесь. Мы едем в мой дом. Я живу одна. Вы пробудете у меня целый день.

— А Светлана? — спросил я глупо.

— Ох, мужики вы мужики, — засмеялась она. — Не переживайте вы за Светлану, ваша будет. Так как там Москва-то? Саша с Лолитой не сошлись по-новой?

— Что?

— Я думаю, вы меня обрадуете. Не сошлись они?

— Откуда я знаю. Вообще вы с чувством юмора.

— Да я и вообще с чувством. И не с одним даже.

Мы подъехали к новой девятиэтажке, поднялись на девятый этаж в однокомнатную квартиру, прилично обставленную. В прихожей грелись, с женскими рядом, большие мужские тапочки, и больше ничего мужского я там не увидел.

— Я пошла, вы, если хотите, примите душ с дороги. У Светы свой ключ, так что не пугайтесь, когда услышите, что кто-то идет. Телефона тут нет. У вас какой номер на мобильнике?

Я назвал номер.

— Потом позвоните мне, — дала мне светски свою визитку.

— Тогда и я вам свою вручаю.

— Очень приятно. Буду в столице — позвоню непременно.

— Позвоните.

— Я пошла?

— До свидания.

— До встречи. Все — в холодильнике. Света будет через двадцать минут. К окну не подходите — город маленький, но злобный.

— Ни за что.

— Я пошла?

— Спасибо.

Я успел принять душ, оделся, сидел с гудящей головой, и сердце что-то билось-колотилось. Светланы не было и не было, но потом она вдруг пришла. Стояла в дверях комнаты, смотрела на меня, что-то высматривала в глазах, молчала.

— Ты зря в носках ходишь. В прихожей тапочки, это я тебе купила. Твой размер слоновий.

Подошла ко мне, прижалась — и проклятая преграда начала расти до неба.

— Давай сначала без слов, — сказала она.

Маленькие, яблочные груди у нее были — как будто не кормила она двоих.

— Ты не удивляйся, я без молока была, — на глазах показались у нее слезы.

— Бьет он тебя? — спросил я.

— Нет. Ему некогда. Он пьет, а не бьет. А я пить совсем бросила. Кандидатскую защитила.

— Давай по шампанскому. За встречу.

— Не надо. — Она помолчала. — Не надо — не свадьба.

— Что ж мы натворили с собой, — сказал я.

— Ничего, — глаза у нее высохли. — Ничего, все справедливо, все как надо. Зря ты тогда убежал из детсада. Зря.

— Все как надо, — ответил я. — Я тебя в саду ждал, на лавке.

Она с болью посмотрела на меня. И мы молчали.

— Любила меня когда-нибудь?

— Люблю!

Я взял ее на полу.

На столе.

Ее подруга отвезла меня к ночному поезду. Мы созванивались со Светой потом долгие месяцы, и в звонках, и договорах-разговорах о новой встрече прошел год. Однажды она позвонила и сказала: «Я в Москве!»

— Где?

— В аэропорту. С мальчишками.

— Ты прилетела? Я сейчас приеду!

— Я улетаю, — она заплакала. — Не надо приезжать. Не надо видеться. Ничего у нас не получилось. Ничего.

— Подожди, ничего не говори. Где ты? В каком аэропорту?

— Я улетаю в Америку. Я буду работать в Хьюстоне, в НАСА. Я насовсем туда. Я в разводе. Я тебя ненавижу, ненавижу... любимый мой, любимый...

Теперь мы связываемся с ней по интернету. Однажды она прислала мне фотографии со своей свадьбы — смотрела с них на меня, я точно знаю, что на меня. Жених, высокий, седоватый англосакс, глядел куда-то выше. В космос, наверное. Одна ее фотография была смелая — топлес.

Я тоже ей послал фотографии со свадьбы. Рядом со мной стояла в фате наша сотрудница — девушка с маленькими, как яблоки, кулачками.

Все кончилось.

## ДРУГИЕ ЖЕНЩИНЫ

Никогда не ждал я писем с таким мучительным нетерпением, как в армии. Первый раз в жизни оторвался надолго от дома, да ведь не к Черному морю поехал в разгар лета, а в армию служить. И все тогда смешалось в сознании: и наивная гордость, что мне «доверили грозное оружие», и детская, физиологическая в своей основе тоска по какому-нибудь вкусному блюду — просто по еде, например, по халве, — и острейшая, непереносимая ревность ко всему гражданскому миру, окружающему мою Надю. Что там, в этом мире? Он просто переполнен опытными мужчинами, красавцами, студентами, и весь этот лукавый народ так и вьется вокруг Нади, так и норовит подбить ее на грех. А что Надя? А то Надя, что достоверно, наверняка знал я: не устоит моя Надя.

Идиотская картина: после отбоя не могу заснуть, лежу на верхней



койке и, повернувшись лицом к Наде, то есть оборотив бессонные очи в сторону Курска (направление взгляда я исчислил по компасу и карте СССР), думаю, как какой-нибудь экстрасенс: Надя! Надя! Ты меня слышишь? Я тебя люблю!

А стоит закрыть глаза, как сразу же вижу Надю в ресторане: вот она пьет вино, вот танцует, вот садится в такси.

Мерзавец, как ты смеешь думать про нее плохо, бичую я себя, но остановиться не могу.

Вот она целуется в такси, вот уже комната, полусвет, вот она снимает платье, а вот и он тут как тут, руки, ноги, дыхание... Я прихожу в себя, почувствовав, что сжался в судорожно напряженный ком нервов и мускулов.

Какое счастье, если бы раздался крик: «Рота, подъем! Тревога!» Лучше всю ночь мотаться по степи с полной выкладкой, чем так мучиться ревностью, воображать все это, цепенеть от ужаса, что, может быть, именно сейчас все и происходит.

Тут я должен оговориться, что стою на той точке зрения, согласно которой ревность — одно из высших и непреложных доказательств любви. Мысль для меня настолько очевидная... неужели нужно пояснять? Не ревнуешь — значит, не любишь. Что касается темных сторон ревности — подозрений, ужасающих видений, предположений самого крайнего и живописного толка, — то, увы-увы, так ли все это фантастично и невероятно?

Ночи были наполнены Надей: то она представляла греховной и преступной, то необыкновенно, идеально прекрасной и в то же время совершенно по-земному милой, любящей, ждущей меня.

А дни проходили в ожидании почты. В четыре часа появлялся дежурный по роте с пачкой газет и журналов и с тощей стопкой писем. Никакой ерунды вроде пляски в обмен на письмо у нас не было: дежурный раскладывал конверты по ячейкам большого ящика, помеченным буквами алфавита, и чаще всего в моей ячейке «К» ничего не оказывалось. И тогда я думал, что с удовольствием спясал бы, приди письмо от Нади, но — на нет и суда нет.

Правду сказать, сам я тоже писал редко. Сначала письмо на письмо, потом мы радовали друг друга без всякого порядка, и получалось довольно часто, а на втором году службы Надя замолчала месяца на три. Что было думать? Вышла замуж? Нет, об этом женщина не преминула бы сообщить. Разлюбила? О таких вещах в восемнадцать лет пишут безусловно. Закрутилась! От подобных мыслей я и не спал. И еще одно предположение терзало меня, заставляя страдать уже без картинок, вызванных ревностью: Надя умерла.

Она умерла, а мама ее, Екатерина Алексеевна, сообщить ничего не может, так как Надя прятала мои письма, и у Екатерины Алексеевны нет номера полевой почты.

Кроме того, Екатерина Алексеевна меня и вообще ни разу жизни в глаза не видела, я для нее — школьный товарищ Нади, лицо глубоко законспирированное, потенциально опасное и непрезентабельное — какой-то солдат, ни то ни се. Она меня не знала по той простой причине, что в Курске, с матерью, Надя стала жить только после школы, законченной под крылом у бабушки в райцентре. Когда меня призвали в армию, Надя сначала из этого нашего райцентра и писала. Потом она поступила в Курск в институт и переехала окончательно к матери.

И вот Надя умерла... Мысль, конечно, безобразная, но все же было такое роковое предположение: ведь не пишет же она мне! Что с ней, в конце концов?

В часть приехал фотограф, и я снялся на фоне голой осенней степи без головного убора в расстегнутой длинной шинели. Товарищи по оружию фотографировались, выпятив мундирные груди со значками, то есть в самом бравом и молодецком виде, какой только можно вообразить. Однако же когда привезли готовые карточки, оказалось, что моя затея удалась на славу: романтическая фигура со склоненной головой, ветер развеивает полы шинели, необыкновенно трагическая от полной своей пустоты и огромности степь — все это навело мысли не о каком-нибудь удалом «отслужу как надо и вернусь!», а об истинно мужском, суровом и даже горьком, замечательно мужественном деле.

Вот эту-то фотографию я и послал Наде, не сопроводив ее ни единым словом приветства.

Немедленно по получении Надя, будучи в состоянии, как она выразилась, «непонятого восторга», отписала мне — письмо получилось большое и нежное, и так ловко расставлены оказались в нем слова, что можно было прочитать и про любовь Нади ко мне, и про ее верность, но в то же время между строк неуловимо сквозила другая ее жизнь, совершенно отдельная от моей, не предназначенная для узнавания, сокрытая и отводящая мне и всем моим чувствам унизительную запасную роль.

Но и это не все: из конверта, когда я осторожно разорвал его, выпал вместе с исписанными листками еще один — чистый.

Я недоуменно перевернул его: на другой стороне отпечатаны были Надины губы. Не знаю, как это делается, видимо, ничего особенно сложного, но эффект в первые несколько секунд потрясающий.

Конечно, я их узнал, и мудрено было бы не узнать. Казалось, положи передо мной сто таких листков — Надин я найду сразу же. Но никаких усилий не требовалось, потому что я держал листок в руках и он был единственный и предназначался мне как высокий дар и замечательный приз за верность и любовь. Надя воображала, конечно, как нежно поцелую я этот листок, как бережно буду его хранить, как он поможет мне в разлуке; Надя наверняка думала, как здорово все получилось... но не могла она и то не принять в расчет, что в этом листке содержалась тонкая, едва уловимая насмешка — это при благородном подходе, а если смотреть на вещи поглубже — так просто здоровый женский смех, залистый хохот и прямая издевка — вот что принесла мне войсковая почта в конверте «авиа».

Затея с отпечатком губ после трехмесячного молчания мне не понравилась. Кто их целует, эти губы — думал я, вчитываясь в письмо, где явно и недвусмысленно, теперь уже совершенно отчетливо слышался тихий, горячий шепот измены.

Осторожно, чтобы не смять ее губы, я вложил листок в конверт, написал адрес и отослал в Курск. Лети с приветом!

В ответном письме Надя ни словом не обмолвилась о происшедшем, все же она поняла, что, вольно или невольно, оскорбила меня. После этого переписка наша опять застыла, потом оживилась, а к концу службы я уже ничего с собой поделывать не мог: писал Наде почти каждый день, засыпал ее стихами, исступленно-нежными заклятиями — никогда больше, говорю я снова, не были ее письма так редки, так скупы, так остужающие, как в ту весну.

Но чем прохладнее был тон этих писем, тем сильнее хотелось мне, не заезжая домой, отправиться напрямик в Курск, то есть приехать нежданно-негаданно, и будь что будет, пан или пропал, или любит — или нет, все должно решиться на месте.

Отказаться от своего решения я никак не мог, потому что Надя вдруг одарила меня нервно-нежным посланием, которое воспринял как зов.

Своим приездом я рассчитывал доставить ей необычайную радость, такую же, как если бы она ни с того ни с сего приехала бы ко мне в часть и мы пошли бы весенней ночью рвать тюльпаны в светящейся, дремлющей степи.

Укладывая чемодан, перелистал я небрежно и другие странички, от другой девушки, которую знал заочно, никогда не видел даже на фотографии, но письма от нее тем не менее получал — и сам изредка писал ей. Эта переписка затеялась после того, как кто-то из земляков передал мне письмо, направленное в нашу часть; в строчке «Кому» на конверте значилось: «Хорошему парню».

Ну что же, давай — сказал я земляку и стал писать в Чимкент. Отвечала мне из Чимкента Люся — существо возвышенное и трогательное, вызывающее жалость. Все это для отношений горячее слабое, и, по правде говоря, Люсины письма волновали меня не больше, чем сводка за прошлую неделю.

Волновать не волновали, однако и переписку я не прекращал. Казалось бы, чего проще — сообщить все как есть, честно и прямо, да и закончить почтовый роман на слегка горьковатой, но точной и правильной ноте. Нет же, изрядно сдобренная литературными мотивами, в которых Люся оказалась мастерицей, переписка тянулась многие месяцы. Скажу сразу, что все это вышло мне боком, но это и справедливо — за все ведь придется расплачиваться; но, к сожалению и стыду, неприятности и унижения пришлось пережить и Люсе, хотя она никоим образом не виновата.

Меня так и подмывает оправдаться перед самим собой (что я, в общем, и делаю), но оправданий тут быть не может. Во всяком случае, не допущу я банальных разъяснений насчет того, что «жизнь сложна».

Она и в самом деле сложна.

Подержав в руках Люсины письма, я предал их огню, бросив в ритуальный дембельский костер, и надумал поступить так: демобилизоваться и из Люсиной жизни пропасть бесследно, ибо кто я для нее? Неясная надежда? Некто, автор писем. Она для меня, кажется, и вовсе никто, Люся из Чимкента, одна стотысячная частица Нади.

Надя вряд ли подозревала, садясь за письмо, в котором каялась, и все до конца рассказывала, и называла меня любимым, что это письмо я получить уже не успею: в тот час, когда она его писала, я с хорошо начищенной бляхой на ремне и с волнением в сердце подъезжал к Курску.

\* \* \*

Поезд еще не остановился, еще только первые вокзальные киоски, вывески и табло поплыли за окном, еще встречающие торопились вдоль состава, сбиваясь на бег и прикидывая, где остановится нужный им вагон с дорогим пассажиром, а я уже увидел ее. Надя стояла на перроне, напряженно вглядываясь в окна вагонов, увидела меня, я увидел ее глаза... девушка рассмеялась, я тоже невольно улыбнулся. Ничего похожего на Надю! Другое лицо и, конечно же, другие губы. Я вышел из вагона,

земля радостно качнулась подо мной, я устремился к табачному киоску и купил пачку сигарет «Стюардесса».

«Гражданка милая, привет тебе, привет, я с автоматом отбуклатил пару лет?»

Такого острого чувства освобожденности, вольности, радости, как на перроне вокзала в Курске, я за последние дни не знал. А ведь недавно произошли события выдающиеся: публикация указа министра обороны о демобилизации, вызов в штаб для официального уведомления о ее дате, последний развод, когда перед тобой, один раз за всю службу, проходит, отдавая тебе честь, весь родной полк. Бей, барабан!

А потом прощание у ворот, рядом с КПП, потом трое суток на поезде с пересадкой в Волгограде, где на Мамаевом кургане ко мне прицепился патруль: почему без пилотки? Ваши документы! Так ты демобилизованный! Чего ваньку валяешь? Иди, не мешай служить.

Демобилизованный я им и даром не нужен, вот в чем фокус. Могу путешествовать и без пилотки.

Гражданская жизнь поворачивается к тебе своим веселым, симпатичным лицом, и ты обнаруживаешь массу радостей и приятностей, от которых порядком уже отвык. И все же высшая, невероятная радость — сойти с поезда в том городе, где у тебя любимая девушка.

Весь долгий путь, все эти трое суток в поезде и сорок минут в троллейбусе пронеслись мгновенно. Совершенно неожиданно для себя я оказался перед обитой искусственной кожей дверью на третьем этаже пахнущего легкой летней пылью, гулкого и как будто нежилого дома. Не доносились из-за дверей голоса, не звучала музыка, не лаяли собаки и не мяукали кошки. Дом и вправду был полупустой: кто на работе, кто на даче, кто укатил в отпуск — беззаботное лето разнесло жильцов бог знает куда. Ни секунды не думал я о том, что и Надя, сдав сессию, вполне могла в этот день быть где-нибудь в стройотряде за тысячу километров от Курска или у бабушки в гостях, а то и у синего моря на роскошном пляже.

Все это могло быть, но я не допускал никаких вариантов, кроме одного: Надя ждет меня в Курске.

Такая уверенность родилась не на пустом месте. За два года я совершенно точно понял — и мне казалось, поняла это и Надя, — что наши чувства стали серьезнее и значительнее наших обид, молчаний по три месяца, стихов; все это были только поверхностные знаки случившегося с нами и связавшего нас. Возникли права друг на друга, и вот мое право твердilo: она здесь, она в Курске.

Я нажал кнопку звонка. Тотчас, как будто за дверью ждали, она широко распахнулась — на меня смотрела женщина, которая никем иным быть не могла, кроме как Надиной матерью.

Должно быть, физиономия у меня случилась чрезвычайно выразительная, потому что Екатерина Алексеевна мгновенно смешалась, потупилась в тревоге и напряжении, потом взглянула на меня прямо и внимательно, и тут я совершенно четко понял: она знает меня, как знаю ее я; не будучи знакомыми, мы давно вошли в жизнь друг друга.

Не выговорилось ни «здрассьте», ни «добрый день»; не переступив порога, я бухнул как пятиклассник:

— А Надя дома?

— Проходите, Саша, — она заговорила замедленно, что-то обдумывая на ходу, но с той необыденной интонацией, расслышав которую уже не сомневаешься, что имеешь дело с союзником — и, более того, с другом.

В прихожей, поразившей меня крошечностью и уютностью, настало-таки время ритуала знакомства и приветствий, и, хотя Екатерина Алексеевна еще не ответила на мой вопрос и сама Надя еще не выпорхнула из комнаты, я все же уверился окончательно: она здесь, неподалеку. И тогда я катастрофически застенялся, стал косноязычен, и открылась мне безмерная нелепость этого визита: свалился как снег на голову, кто тебя, интересно, звал, чего ты явился в этот сугубо женский дом-мир, где и без тебя наверняка хватает беспокойств и разнообразных хлопот, и, может быть, отношения между мамой и дочкой не сплошной мед. И даже если эти отношения на удивление гармонические и приятные, то и тогда получить в дом подобного гостя — все равно что поймать темной ночью булыжник в окно: и сквозняк, и на душе нехорошо.

Подобные соображения пронесли в голове, пока я что-то говорил Екатерине Алексеевне; пока Екатерина Алексеевна мне что-то отвечала, она тоже думала свою думу — и мы так глубоко чувствовали друг друга, что, пожалуй, могли бы не менее часа разговаривать вовсе без слов. И не только поняли бы, о чем речь, но и ухватили бы потаенную суть беседы, ту припорошенную словами твердь смысла, что никогда во всей полноте не открывается внутренне далеким людям.

Самое главное из этого непрозвучавшего разговора можно воспроизвести примерно таким образом:

«Как Надя, где Надя, Надя — моя?»

«Она здесь, недалеко, она тебя любит, все не так просто, ты скоро поймешь, не волнуйся!»

«Кто он?»

«Это ерунда, это не имеет значения, так, чепуха, женские штучки, ты у нее — главное».

«Я уеду немедленно».

«Ни в коем случае, ты сошел с ума!»

«Нет, но — схожу с ума. От горя. Я ее убить могу!»

«Ты ее можешь спасти, ты понимаешь? Я вижу, что ты хороший человек, а она — дура, запуталась, но она же замечательная, бедная моя Надя».

«Кто он?»

«Это не имеет значения, поверь. Главное, ты должен остаться».

Так мы говорили с Екатериной Алексеевной без слов, слова же постепенно пришли самые обыкновенные, тем более что я преодолел неловкость и даже извинился за столь неожиданное вторжение.

— Ну что вы, Саша, — Екатерина Алексеевна осторожно улыбнулась. — Я сейчас позвоню Наде, она у подруги, она тут же примчится. А вы пока умойтесь с дороги.

Я прошел в ванную комнату и стал мыть руки, слыша, как Екатерина Алексеевна говорит в трубку.

— Не «не может быть», а приехал! Да. Да, в форме. Руки он моет. Немедленно, потому что...

Потом она набрала другой номер и сказала:

— Ваня! Такое дело: Саша приехал из армии... Она сейчас явится. Ты зайди, пожалуйста, в магазин, а то у нас из этого нет ничего. У тебя есть? Все что надо? Надо же! Очень хорошо, я тебе деньги отдам. Давай, приходи!

Мне не надо было объяснять, кто такой дядя Ваня; это — я знал из писем — любимый Надин дядя Ваня, брат Екатерины Алексеевны. Похоже, и дяде Ване не приходилось растолковывать, какой это Саша зая-

и мне из рядов Советской Армии, и мне это понравилось. Мое ощущение, что с Надей я связан гораздо крепче, чем можно было судить по письмам, оказалось вполне верным.

Руки я мыл долго, Екатерина Алексеевна говорила по телефону нарочито громко... все же какие насыщенные и доверительные отношения складывались между нами! Потом наступил трудный момент: топтать сапогами ковер на полу представлялось мне невозможной грубостью и солдатской неотесанностью, ходить в форме и без сапог было противоестественно, а переодеться в спортивный костюм — верх бестактности: как ни говори — все же не у тещи на блинах. Хотя по некоторым признакам смахивало на то.

Екатерина Алексеевна мгновенно почувствовала мою заминку:

— Саша, только так! При всем параде! Тут нога воина не ступала сто лет!

И воин пересек комнату по диагонали, уселся в кресло у телевизора и стал напряженно молчать, ожидая с минуты на минуту появление Нади. Я присмотрелся к собственной руке, лежащей на подлокотнике кресла, и увидел, как едва приметно вздрагивают ритмично часы с тяжелым металлическим браслетом — это означало повышенный и наполненный пульс.

Когда раздался звонок, я не подскочил, не шагнул в переднюю, так как совершенно смешался, но, оказалось, поступил верно, ибо звонила вовсе не Надя, а дядя Ваня.

Через минуту мы уже стояли на балконе и курили «Стюардессу», толкуя ни о чем, потом дядя Ваня характерно покряхтел, как перед прыжком в холодную воду, и сказал мне прямо:

— Она девка хорошая, и даже отличная. Конечно, характер... да без него ведь тоже нельзя. Забирай ее, промашки не будет, перед тобой слегонца виновата, но в том тебе польза.

А еще через минуту, пару раз затянувшись, присоветовал:

— Вообще — пропаганду не слушай. Слушай, но не вникай. Сам норови разобраться. Но я бы... ты понял? Стоит она того.

Я понял. Я все знал: Екатерина Алексеевна так много мне сказала, и теперь едкая, горячая, расслабляющая волю обида смешалась во мне с необыкновенно сильным желанием Надиной любви — мне хотелось, чтобы она, увидев меня, все и навсегда забыла, потому что моя любовь — вот она, она выше ревности, она прощает все, она преклоняет мои колена...

— Вон она идет!

По двору, пересекая его наискосок и пропадая под шапками пышных кленов, шла красавица, но что в ней было красиво, что мгновенно и сладко ударило по сердцу — я бы никогда не смог ответить. Все было невероятно, невиданно совершенно. Все. Какие еще описания необходимы? Если бы Надя подняла голову и крикнула: «Прыгай!» — я бы, конечно, прыгнул, но не треснул бы о дворový асфальт, а таким сизым голубем явился бы перед ней, трепеща крыльями любви. Это так.

Она не подняла головы, я занял свой пост в кресле, скованный и перевозбужденный, и снова раздался звонок — только она могла так звонить.

Надя вошла в комнату, клюнула в плечо дядю Ваню, подошла без слов ко мне, я вскочил, и мы долго смотрели друг другу в глаза.

Я захотел немедленно уехать. Все стало ясно.

Я шагнул в прихожую, но тут дядя Ваня рявкнул: «Стол расставлять!» — все равно что «Стой, стрелять буду!». Через несколько мучитель-

ных минут все пошло как надо, как положено, но неестественная напряженность, фальшь, вымученность ситуации витали над застольем будто табачный дым в купе для некурящих. Да, конечно, после обмена взглядами следовало в ту же минуту подхватить чемодан, поблагодарить за гостеприимство и, не слушая слов ответа, бежать вон из этого дома, рвануть по лестнице через три ступеньки — и исчезнуть раз и навсегда из ее жизни. Надо было. Но ничего такого не произошло. Дядя Ваня, которого Екатерина Алексеевна мудро не притормаживала, подливал да подливал мне в рюмку, не забывая и себя, и хмель, от которого я давным-давно отвык — да, кстати, и не привыкал никогда, — стал меня бороть.

Разговор за столом шел самый простецкий: меня расспрашивали про армию, я отвечал, потом вспомнили Надину бабушку, заговорили про райцентр, но ни Надя, ни Екатерина Алексеевна не обмолвились насчет того, что меня дома ждут — не дождутся. Не было даже спрошено, дали я телеграмму домой или, может, написал письмо: дескать, еду, встречайте.

Я пьянел и понимал, что пьянею, но от выпитого, а более того, от напряженности чувств, восприятие мое беспредельно обострилось: я читал в душах, как в открытой книге. Это состояние сродни болезненным прозрениям, когда неясный полунамеком, легкая тень мысли, слово, замершее на губах, способны сообщить больше, чем способно вместить сознание за долгие дни. Какая-то плата взимается за исступленную работу души с человека, если открывается ему этот тайный, особый язык жизни...

Мне совершенно ясно стало, что Надя живет на два дома, то есть у нее есть любовник, который не станет ее мужем, и сама она этого тоже не хочет. Он сделал ее женщиной — и переиграл ее, устал от нее. Польшало меж ними в те три месяца молчания, а теперь лишь догорает. Я также понимал, что Надя ждала меня в последние дни, ждала не вообще, а именно сюда, в этот дом, и знал, что в письме, отправленном ею и не полученном мной, есть ее признание во всем. Но, приехав в Курск, я сам все до крайности запутал. Любовник и рад выпустить ее из лап, но самой ей повиниться передо мной никак невозможно, потому что она знает: повинится — будет виновата. Принять же вину не дает характер. Я должен покорить ее снова, и она не уверена, готов ли я к этому испытанию, и жаждет его. Она решилась теперь все довести до последнего предела, но тогда уже я могу переломиться и стану не нужен ей. Она хочет, чтобы я взял ее, как хозяин берет вещь — ни секунду не задумываясь о безусловности своего права.

Она решила испытать меня.

Екатерина Алексеевна увидела во мне того единственно необходимого Наде человека, который «спасет» ее; необходимого даже и в том особом смысле, что у меня достанет великодушия выдержать уготованное Надей испытание. Надю она называла душой, думала о ней всяко, но все же Екатерина Алексеевна вполне оценила Надино мгновенное интуитивное решение: не пасть милому в ноги с покаянными словами, а показать ему, что любовь ее дорогого стоит. Вполне понимала Екатерина Алексеевна и то обстоятельство, в которое весь план упирался: откажусь я от испытания — все рухнет, а приму испытание и выдержу его — тоже добру не бывать, так как зачем же я Наде раздавленный и униженный. Екатерина Алексеевна размышляла, не пойти ли ей ночевать к подруге, но так ничего и не решила.

Дядя Ваня жалел меня всеми силами, но ничего не понимал до тонкости, потому что был среди нас самый добрый человек. Ему хотелось простоты. Чтобы Надя сказала мне: «Если можешь — прости. Я тебя люблю». И я должен был простить. Жалел он и Надю, потому что — хорошая девка. И еще дядя Ваня чувствовал: всеобщее напряжение разрядится в самый ближний срок.

Сам же я пребывал в смятении.

Дядя Ваня скоро ушел, предупредив, что завтра утром заедет на машине, заберет всех на пляж. Екатерина Алексеевна стала убирать со стола и мыть посуду, а мы с Надей вышли на балкон и закурили. Это с моей стороны было глупо, а с ее — очень умно. Сигаретка все слова делает обиденными, ласку невозможной, а настоящую откровенность исключает.

Пустейший был разговор, и снова я почувствовал буквально толчок в грудь: уезжай, довольно, уже все кончилось. Но и невидимая веревка, ловко захлестнутая петлей, держала меня рядом с Надей, и веревка эта была, конечно, в ее руках.

Мы погасили сигареты, и Надя сказала:

— Я должна в ресторан идти с одним человеком. Отказаться не могу. К сожалению. Если хочешь — пойдем с нами.

— Давай так сделаем... — Я не смотрел ей в глаза. — Из дома выйдем вместе и вернемся вместе, а в ресторан — нет, я не пойду.

— Давай, — с облегчением согласилась она. — А где ты меня будешь ждать?

— На троллейбусной остановке.

— Нормально.

Мы вышли из дома «погулять», сели в троллейбус, доехали до ресторана. «Один человек» ждал ее.

Был он в возрасте за тридцать, несколько уже лысоват, подчеркнута модно одет, с видимым акцентом на молодежность стиля, в разговоре интеллигентно легкий и закрытый.

Я посмотрел на него излишне внимательно, он сделал вид, что принял меня за школьного товарища Нади, не более того — и стало ясно, что мужик слабоват и, пожалуй, трусит. Ему уже сильно не хотелось в ресторан; все понимая, он пригласил меня разделить компанию. Я отказался так спокойно, что о дальнейших маневрах на эту тему не могло быть и речи. Он изобразил легкое сожаление, хотя сожаление было и большое, и искреннее: в ресторане мы вполне могли бы дипломатично объяснить — он бы незаметно ушел, чувствуя облегчение, его романчик скукожился бы и увял как бы сам собой. Получилось бы хотя и не вполне красиво, но тут уж не до красоты, главное — приемлемо, полуприлично, на достойном компромиссе.

Думаю, Надя тоже надеялась, что я пойду в ресторан, эта мысль явилась ей уже на ступеньках чертога наслаждений, когда взыграло женское самолюбие и капелька тщеславия дала чувствам особый вкус и аромат.

В какой-то миг во мне вспыхнуло горячее желание драки... я знал: начну — пощечиной не обойдется, избью сильно... я представил, как он упадет на пыльный асфальт, ссаживая локти и колени. Нет. Дело не во мне; это Надя должна сказать ему нет. Нет, не пойду с тобой. Тогда все было бы определено и ясно.

Однако роль жертвы предназначалась мне. Испытание начиналось всерьез.



В некотором безразличестве я потоптался по центру города и через полтора или два часа вернулся во двор Надиного дома. Ждать ее на остановке показалось мне глупо; к тому же встретить я еще раз господина кавалера, не избежать было оскорбления действием, причем сила оскорбления могла стать чрезвычайной. Это был бы уже идиотизм, бой баранов. Во дворе стояла скамейка среди кленов, на ней я и обосновался с неразлучной «Стюардессой».

Надя пришла в половине второго. Когда я поднялся навстречу ей со скамейки, она удивилась, сказала:

— Я думала, ты уже спишь. Зря ты сидел.

— Давай поговорим, — предложил я, чувствуя нервную дрожь. Прямо трясло меня, как в лихорадке. Я видел, что она пьяна.

Мы вошли в подъезд, Надя открыла своим ключом дверь. Екатерина Алексеевна спала на кушетке у дальней стены, рядом с раскинутым Надиным диваном стояла, совсем близко, застеленная раскладушка. Надя пошла в ванную, пошумела водой, пока я укладывался, потом вошла в комнату и, став против окна, сбросила с себя халатик — больше на ней ничего не было уже. Я лежал на раскладушке молча, не притворяясь, что сплю, не прикрывая глаза. Она, помедлив несколько секунд, легла на свой диван, мы соединили руки.

Екатерина Алексеевна дышала глубоко и ровно: конечно, не спала. Совершенно неожиданно она встала и прошла на кухню.

— Ты меня любишь, — сказала Надя утвердительно, с тихой торжествующей радостью.

— Откуда ты знаешь?

— Иначе ты бы меня не прости.

Вошла и улеглась Екатерина Алексеевна, вполне убежденная, что мы провели вечер вместе и никак не можем остановиться.

— Это не так, — сказал я в совершенно полной ночной тишине: Надя уже счастливо спала. Уснула и Екатерина Алексеевна; тогда, как по команде, Надя проснулась, подвинулась к краю дивана, сбросив с себя одеяло, — и мы начали сходить с ума, остановившись лишь в самый последний, перед вспышкой, момент.

Думаю, Екатерина Алексеевна пережила редкостные минуты, выпадающие не каждой матери. Она не ушла к подруге — и все теперь слышала и поняла сама. Она подумала, что все вышло хоть и как-то излишне очерченно, но все же сверхпревосходно, все разрешилось самым лучшим способом, но не подозревала только, как много борьбы и ярости было между нами в этих испепеляющих ласках.

Утром я проснулся вслед за Екатериной Алексеевной, мы вышли на кухне, пока Надя спала, по чашке кофе; Екатерина Алексеевна расценила этот кофе куда выше вчерашнего застолья; я же, понимая, что мне должно быть стыдно и неловко, никакого стыда на самом деле не чувствовал.

Стыда не было, все это ушло на второй или десятый план, заслонившись неясностью и противоречивостью чувств, охвативших меня. И с тревогой, но вместе с тем и смутным удовлетворением почувствовал я, как в самой глубине души образовался алмазный колючий кристаллик ненависти к Наде.

Что и говорить, качели размахнулись широко, но в нижней точке полета, когда земля тянет к себе с утроенной силой, ночное наваждение отлетело от меня: я чувствовал теперь радость — все наконец кончилось.

Унижение прошедшего дня, страсть ночи сделало все остальное, как казалось, бессмысленным.

Приехал дядя Ваня, мы по-быстрому покидали в багажник пляжную снасть и поехали. На пляже Надя так откровенно начала томиться, так скучать и вздыхать, отодвигаться от меня на какое-то совершенно несообразное, охлажденное расстояние, что, когда она встала и пошла медленно вдоль пляжа, я понял, что идти за ней было бы глубоким, медицинским идиотизмом; предстояло понять, чего она все-таки добивается.

Как только Надя пропала с глаз, я ощутил боль и тоску. Конечно, ненавидел я ее не саму по себе, а только за эти номера, за лютость самоутверждения, за желание согнуть меня и услышать, как тихо хрустнет сломленная воля.

Я совершенно четко осознавал, что, подойди она ко мне и скажи: «Люблю!» — я бы убил ее.

Но не только не говорила она этого слова, но и самой ее не было рядом, и где она пропадала, никто не знал.

Дядя Ваня покряхтел, достал бутылку вина, я выпил, искупался, еще выпил. Время пролетело быстро. Стягивались тучи, пляж понемногу опустел, скоро мы остались втроем — тогда откуда-то издалека пришла Надя.

Никто никому не сказал ни слова, сели в машину и поехали домой — и попали в дождь.

Дальше была полная ерунда: мы пошли с Надей в кино, и я сказал ей, что хочу уехать. Она сжала мою руку до боли: не смей.

Я промолчал. Длитель все это было невозможно. Мы вернулись домой, легли в полной тишине, никто опять не спал, и никто не протянул руку навстречу руке.

На следующий день, в понедельник, Екатерина Алексеевна, встав пораньше и приготовив нам завтрак, ушла на работу. Надя поднялась с ней вместе и, пока я умывался, успела собраться.

— Куда ты идешь? — спросил я.

— Жди меня, Сашенька, — ответила она с такой нежностью и волнением, что у меня перехватило дыхание.

Когда она ушла, я осмотрел фотографии, выставленные за стеклами серванта. Без труда обнаружил на них Надиного любовника: вот он принимает зачет, вот выступает на каком-то капустнике, вот обнимает Надю.

Понимая, что совершаю подлость, я открыл ящик письменного стола и там нашел свои письма, одно к одному, вместе с той фотографией, которую когда-то выслал Наде.

Я закрыл стол, взял ручку и написал на листке бумаги: «Надя, Екатерина Алексеевна! Я должен ехать домой. Спасибо за все, мне было у вас хорошо. Саша».

Через пять минут я вышел из квартиры и поехал на вокзал. До поезда было два часа, я послонялся по перрону, то и дело подходя к телефонной будке, но так и не позвонил.

Утром следующего дня я был дома.

Лишь через несколько лет я узнал, что, вернувшись и найдя на столе записку, Надя написала Екатерине Алексеевне: «Уезжаю к Саше, пойми, прости», — и ближайшем поездом отправилась вслед за мной.

Она ждала меня неделю, проведя все это время в молчании у окна, на вопросы бабушки ничего не отвечала и никак не дала о себе знать, решив, что я почувствую ее рядом и приду.

Поступив осенью в университет, я зажил московской студенческой жизнью; все было пусто в душе. Припомнив Люсю из Чимкента, послал ей письмо, на которое пришел незамедлительный ответ. Мы снова начали переписываться, и в конце декабря я получил от нее письмо из Евпатории. Она просила встретиться с ней с самолета и предлагала вместе, вдвоем, отпраздновать Новый год. В аэропорту я должен был узнать ее по голубой косынке. Самолет прилетел без опоздания, не замедлила появиться и косынка, довольно странная в рассуждении декабрьских, под тридцать градусов, морозов. Я посмотрел на Люсю, красивая она была, и понял, что самое честное — стать в очередь за билетом, чтобы она улетела в Чимкент первым же рейсом.

Люся была восторженна и возбуждена, сказала, что у нее с собой виноград и шампанское. Мы сели в ледяной автобус, сошли у аэровокзала, потом добирались до гостиницы, я долго унижался перед администраторшей, шепотом называя Люсю своей невестой, и в результате ей дали койку на одну ночь.

Я проводил ее до номера, откуда слышен был ночной храп усталой женщины.

Я позвонил в аэропорт и узнал, что билеты на Чимкент есть.

Больше я Люсю никогда не видел. Что касается Нади, то...

